

А. БЕЛКИН

ПОВЕСТИ ПУШКИНА



Анатолий Белкин
Повести Пушкина

«Центрполиграф»

2019

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)

Белкин А. П.

Повести Пушкина / А. П. Белкин — «Центрполиграф», 2019

ISBN 978-5-227-08603-7

К вам в руки попала необычная книга. У нее не только интригующее название, но и не менее захватывающий текст. Смесь вымысла, сказок и фактов из жизни реальных субъектов истории разных стран и народов связаны между собой таинственными существами. Непревзойденный мастер Средневековья Бенвенуто Челлини и генерал-фельдмаршал Эрвин Роммель, римский император Тиберий Клавдий Нерон и народный герой, генеральный секретарь Коммунистической партии Югославии Иосип Броз Тито – всё и всех в этой книге объединяют сотворенные человеком монстры... Стоящие на довольствии как кандидаты в члены ЦК любимцы Сталина – гигантские улитки-мутанты на службе у чекистов... Вот как далеко зашла неумемная фантазия автора! А может, и не фантазия? Может быть, он знает то, что было сокрыто от людских глаз, чего никто раньше не обнаружил? В любом случае чтение не будет скучным. Вы будете удивляться, улыбаться, возможно, где-то гневаться и отрицать, но точно не останетесь равнодушным. Вас ждет прекрасный живой язык, узнаваемые персонажи, смелые выдумки автора, здоровая доля сарказма и тонко подмеченные подробности из жизни, изящно вплетенные в канву повествования...

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)

ISBN 978-5-227-08603-7

© Белкин А. П., 2019
© Центрполиграф, 2019

Содержание

I	7
II	10
III	12
IV	14
V	17
VI	23
VII	26
Гриша	31
VIII	34
IX	37
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Анатолий Павлович Белкин

Повести Пушкина

«Я возился с «пушкинским наследием» долго, разбираясь с написанными от руки, разными чернилами и ужасным почерком страницами без нумерации с расплывшимися от пролитого портвейна буквами и утонувшими в вине целыми абзацами. Но, начав читать, я уже не мог остановиться...»

© Белкин А.П., текст, илл., 2019

© «Центрполиграф», 2019

I Гастроном «Почта»

В десять часов утра бутылка водки за два рубля восемьдесят семь копеек, взятая за горло слегка трясушейся рукой, привычным жестом была отправлена во внутренний карман грязного драпового пальто. Но не осталась там, как всегда, уютно лежать, охлаждая сердце страстотерпца мягким покачиванием по дороге домой. Она предательски скользнула через рвань подкладки и, мгновенно пройдя расстояние от груди до пола, брызнула по ногам стеклом и водкой. Очередь притихла. Алкаши сочувственно ёжились и, нюхая воздух, кричали: «Ишь ты... Видно, фуфырь мокрый... Не обтёр». Даже кассирша не выдержала: «Что ж вы... Так неаккуратно... Вот ведь».

Этот винный отдел был хорош: «Перцовая», «Дубняк», крепкая настойка «Лимонная», два портвейна – «777» и «Агдам», коньяк в ассортименте, «бормотуха» трёх видов и совсем экзотический, ярко-зелёного цвета «Бенедиктин» – загадочное изделие Ленинградского ликёро-водочного завода. Сухой ряд представляли «Саперави», «Алиготе» и оплетённые цветной пластмассой двухлитровые бомбы «Гамзы», ну просто «Книга о вкусной и здоровой пище»! Гастроном был известный, прямо напротив Почтамта, имел три отдела и у алкашей назывался «почтой», на «почту» было принято ходить ежедневно. Те, кто уже получил «корреспонденцию», предупреждали встречных: «Белой нет, к часу подвезут» – или: «Добавь, старик, я вечером отдам». Я тогда ещё водку не пил, но на «почту» ходил регулярно. И, стараясь подражать героям «Праздника, который всегда с тобой», покупал дешёвый кислый «сухарь», от которого пожизненная изжога не даёт забыть о правильно прожитой молодости. Мы не могли не познакомиться. В начале семидесятых для жителей микрорайона винные точки были тем же, чем кафе «Куполь» для гениальных бездельников Парижа тридцатых годов. К десяти утра, к открытию гастронома, подтягивались те, у которых «горели трубы». У этого народа каждая минута была на счету, речь шла, как у Сталина с Пастернаком, «о жизни и смерти». К полудню их место занимали brutальные пьяницы из категории «сутки через трое», то есть грузчики, сторожи лодочных стоянок, котельных, поэты и выгнанные с работ и из семей тётки от 30 до 70 лет. Часам к трём подтягивались профессиональные сборщики бутылок, волнуясь от неизвестности: будут ли сегодня брать бутылки 0,5 или 0,7, и есть ли тара? Днём винный отдел переживал спокойную сиесту, чтобы к вечеру принять и обслужить серо-чёрную толпу инженеров, служащих, военных, работяг всех видов, заботливых жён и подруг, берущих своим мужчинам бутылёк к ужину. Но к этому времени лучшие виды портвейна уже заканчивались.

Жил он на Фонарном переулке, сразу за банями. Никто не видел его пьяным. Он был перманентно «выпимши». Зимой, бесконечную ленинградскую осень, лето и весну он переживал в одном и том же засаленном пальто с огромными накладными карманами. Под пальто была надета застёгнутая на все пуговицы фланелевая рубашка в клетку. В тёплые дни пальто одевалось прямо на майку нераспознаваемого цвета. Также по сезону домашние войлочные тапки сменялись чёрными раздолбанными говнодавами фабрики «Скорород». Он никогда ни с кем не разговаривал, никогда не стрелял мелочь и не толкался перед кассой. Небритый, с потухшим охнариком «Беломора» в углу рта, с прямой спиной драпового пальто он являл собою не часто встречавшийся даже тогда тип алкаша-аристократа. Даже при трагической гибели первой утренней бутылки он не потерял благородной выдержки. Он как-то осторожно, как фламинго, поднимая ноги, пронёс их над местом катастрофы, вынул окуроч, откусил кусок жёваного мундштука, сплюнул его, вставил крохотный хабарик обратно, сунул руки в карманы и, зябко нахохлившись, молча вышел из магазина.

Года через два постоянных встреч мы стали друг другу кивать. Пару раз стояли друг за другом в очередях. И всё. Никакого контакта. Он казался мне воплощением свободы. Как Генри Дэвид Торо – апостолом гражданского неповиновения. Но я оставался для него невидимым, как остаются невидимыми детали лепнины дома, мимо которого ты проходишь изо дня в день. Помню редкий, без серых туч, совершенно прозрачный, с холодным солнцем октябрьский день. Я иду по бульвару Профсоюзов, сиречь Конногвардейскому, с эмалированным бидоном пива, удачно взятым в ларьке у Львиного моста, и вижу его сидящим на скамейке. Он сидел согнувшись, обхватив голову руками, рядом на смятой газете лежал батон за двенадцать копеек с откушенным концом. С двумя литрами пива я почувствовал себя богатым Гиляровским, спасающим нищего Саврасова.

«Не хотите пива?» – спросил я почему-то не своим голосом. И, подбадривая себя, добавил: «Свежее». Он разжал голову, посмотрел на меня, перевёл левый глаз на бидон и медленно вложил руки в карманы. Вечный «Беломор», зажатый коричневым зубом, как лампочка в парадной, вспыхнул и погас: «Чем обязан?». Вокруг нас серый Ленинград периода брежневских «последних песен», по бульвару Профсоюзов шёл трамвай № 5 с двумя красными фонариками, в выставочном зале «Манеж», только что переделанном из обкомовского гаража, открылась выставка «Художники – селу!», поэтому «Чем обязан?» прозвучало нарочито неорганично. В то время свежее пиво было прямым жестом сочувствия, сострадания, даже дружбы! Меня вежливо послали... Я почувствовал горечь матери Терезы, которую африканский колдун не пустил к умирающему ребёнку. «Тоже мне, хрен с горы». Я уже уходил, когда услышал: «Слушай, приятель, может, ко мне, у меня ещё пол-леща осталось... Посидим». Это было сказано просто, голос ужасный, но узнаваемый, наш, ленинградский. Только постоянные детские ангины, тысячи папирос, перманентный дешёвый алкоголь и тухлый болотный климат с пересказыванием прочитанных книжек на морозе могли так обработать связки. Это был голос бесчисленных коммуналок, широких проспектов, обоссанных парадных лестниц с покрашенными суриком мраморными каминами, постыдных очередей и ладожского льда, трущегося о гранит. Поколение «пепси» никогда не сможет так прозвучать. Эти хрипы были звуками приближающихся похорон советской власти да и самой страны. Но до этого ещё было далеко, а его нора была совсем рядом. С бидоном пива и с белым хлебом в кармане мы двинулись в сторону Мойки, прихватив по дороге двести грамм «Докторской» колбасы и банку нечищенных килек за восемнадцать копеек.

День приобрёл ясные гастрономически-интеллектуальные очертания. Мы уже шли по Фонарному, когда он, не проронивший за всю дорогу ни слова, вдруг решил представиться. Притормозив у арки углового дома, он сплюнул окуроч, неожиданно протянул руку и просифонил: «Пушкин. Алексей Николаевич. Можно просто Лёша».

Я взбирался за Пушкиным на неизвестный этаж по тяжёлой лестнице бывшего доходного дома. Моду на романтизацию этих дворов и лестниц недоросли той поры пронесли и до наших дней. Доверчивым потребителям этой муры на каждой ступеньке мерещится галоша Раскольникова, а вонь во дворах – это, конечно, запах настоящей литературы.

Мы поднимались по серой, сработанной, как и всё в Петербурге, из пудожского камня, провонявшей кошками и пищевыми отходами лестнице пока не остановились перед дверью, обсыпанной разными звонками, как ветеран – нашивками за ранения. Каждый звонок имел свою фамилию, а некоторые были снабжены комментариями. Мне понравился с левой стороны «Кукушкиным сюда не звонить, звонить к Салье два раза или стучать». Также имелась чёрная кнопка с надписью «Пушкин», она была справа второй сверху. Но Алексей Николаевич был у себя дома, он достал ключ средневекового размера. И мы вошли в родную темноту ленинградской коммуналки.

Его комната выглядела никак, я вообще её не помню. Но два гранёных стакана, солёную шкурку и обглоданные до белизны кости леща, лежащие могильной кучкой вперемешку

с вонючими хабариками на протёртой кухонной клеенке, и картонную папку, набитую мелко исписанными листами, не забыл до сих пор. Я был молодой, презирующий банальность искатель интересного. Я хотел в свободное время жить в «прекрасном и яростном мире», но авансы, выданные моим воображением, Пушкин пока не оправдывал. Разговор вяло, в пандан советскому жидкому пиву, перетекал от поругивания власти к «сволочам»-соседям, и я уже начал готовить отход, попросившись в туалет на дорожку. «Сейчас провожу, а то не найдёшь», – без всякого выражения произнес Пушкин, словно это была его постоянная работа – водить гостей в нужник. Но когда я уже шёл за этим коммунальным Вергилием, понял, что только абориген мог вывести залётного чужака к заветному унитазу. Мы прошли пять дверей, две неработающих старых печи, обогнули продавленный диван, выставленный в коридор для хранения на нём тазов и лодочного мотора, свернули налево, обошли разломанную этажерку с оленьими рогами, миновали ещё три двери и вешалку, заваленную коробками. И наконец вырвались на оперативный простор коммунальной кухни, а оттуда до тубзика уже было рукой подать. И всё это мы проделали в абсолютной темноте с хорошей скоростью. Грохочущий звук спускаемого бачка был сигналом сбора в обратный путь, мой проводник спокойно ожидал меня в проёме кухни. «Все-таки он неплохой человек», – подумал я. Мы вернулись к нему, я разлил остаток, взял бидон и решительно решил прощаться. Вот тут и появилась на столе папка. Алексей Николаевич, как-то нервно поглаживая её, развязал тесёмку, снова завязал папку, бантик не получился, он начал снова, и я увидел, что он мокрый от пота. «Вот, хочу Вам... – Он со второй спички прикупил папиросу. – Вам хочу отдать... почитайте, мне всё равно, больше некому, – папка была завязана идеально. – А будет неинтересно, как-нибудь вернёте».

Он передал мне рукопись, как перед ссылкой старый князь Меншиков свои петровские ордена офицеру конвоя, обречённо и гордо.

Прошла грязная ленинградская зима, а весной тихо умер Пушкин. Умер, как и жил, одинокий, в коридоре больницы для нищих. Больница находилась у Троицкого собора, называлась она «Имени 25 Октября» и являлась последней остановкой для многих поколений ленинградских алкашей и бездомных. У его раскладушки не сидели ни Вяземский, ни Жуковский. Не съезжались к больнице бобровые шубы, не светились золотом мундиры, не ломали шапки извозчики, не крестились прохожие, вообще ничего не было. Были другой народ, другая страна и другой Пушкин. Его соседка по квартире сказала как-то, обращаясь к двум забулдыгам в гастрономе: «У вашего Пушкина вообще желудка не было, пропил свои кишки после войны, а жил ещё сорок лет, как одна копеечка. Смирный был, черт, земля ему пухом».

Я, к своему стыду, из отданных мне страниц ни одну тогда не прочёл. Девушки, друзья, редкие заработки, поздний подъём и весёлые ночи не оставляли времени на разбор прыгающего нервического почерка. Мы читали тогда другие книги. Но смерть этого странного человека как-то задела меня. Может быть, потому, что мы – молоды и друзья ещё не умирали. Наши прогулки по старым Лютеранским, Волковским, Смоленским кладбищам были связаны не с посещением дорогих могил и поминанием усопших, а скорее являлись топонимическими приключениями, с портвейном и подружками. Спустя год после нашей первой и последней встречи я открыл папку и, продираясь сквозь ужасный почерк, исправления и пятна жира, в которых казенные фиолетовые чернила сходили на нет и вообще исчезали, начал читать.

II Хрущёв и Пушкин

Фамилия моего отца не Пушкин. Пушкиным его прозвал Хрущёв за привычку, поднимая стакан водки, каждый раз приговаривать: «Помянем чудное мгновение». Они оба родились в один, 1894 год, в селе Калиновка Курской губернии, выросли в соседних домах и выпивать стали тоже вместе, лет с пятнадцати, когда их родители переехали на Успенский рудник под Юзовку. Отец обладал необыкновенным талантом – он мог смастерить и починить голыми руками практически всё. Такие самородки, вопреки всему, ещё до сих пор появляются в России. Как правило, судьба их печальна.

С десяти лет он чинил соседям поломанную посуду, примусы, прялки, всевозможный инвентарь и любой нехитрый крестьянский скарб. В двенадцать отец смастерил систему деревянных блоков для поднятия воды из колодца. С её помощью девяностолетняя старуха могла легко набрать три ведра воды, которые сами опрокидывались в трубу, шедшую вдоль домов. Прямо римский водопровод!

Его друг Никитка Хрущёв в это время сбивал из рогатки ворон и мечтал об арбалете, не зная точно, что это такое, но его просто заворожил прибор, который держал в руках Иван-царевич на картине, написанной маслом на клеёнке. Хромой цыган приходил продавать её каждое воскресенье на площадь. Мой отец, не видя картины, самострел изготовил и подарил Никитке. Этот щедрый мальчишеский жест через 26 лет спас ему жизнь.

В 1925 году Хрущёв уже стал «начальником», партийным секретарем Петрово-Марьинского уезда. Отца он далеко от себя не отпускал и поручил ему командовать всеми ремонтными мастерскими в районе. Вокруг – страшный голод, но у Хрущёва были куры, гуси, поросята и самогон в любых количествах. Отцу это всё тоже перепало, потому что пить они продолжали вместе. Видимо, уже в то время людей, с которыми можно вести душевные разговоры, было наперечёт.

В 1932 году Хрущёва забрали в Москву, где он стал уже совсем важной шишкой, а спустя год он выписал к себе отца. Дал ему квартиру в Трубниковском переулке и пристроил в Хозяйственное управление Совнаркома. Тогда и случилась эта история.

В кремлёвской столовой для высшего комсостава сломалась американская картофелечистка. Дело серьёзное, пахло диверсией, и народу забрали много. Арестованный электрик дал показания на моего отца. Последний раз менял на машине ремни именно он. За отцом тут же выехала «маруся». Пока чекисты ломались в дверь, отец успел позвонить секретарю Хрущёва и сказать: «Передай Сергеичу, за мной пришли», – это его спасло. С кем связался Хрущёв – неизвестно, но отца вместо Лубянки привезли в кремлёвскую столовую, поставили перед сломанной машиной и приказали за ночь починить, иначе... Механизм американский, запчастей не было, из инструментов выдали набор ключей, отвертку и фонарик да ещё коробку с ветошью для протирки – и всё! Но к семи часам утра картофелечистка заработала. Отца отвезли домой на той же машине, что и забирали, а вечером ему позвонил Хрущёв: «Молодец, Колян. Ты теперь главный механик, в Кремле, сукин сын, будешь работать». С этого времени практически все технические службы Кремля от электрогенераторов до канализации курировал мой отец. Именно тогда он спроектировал и построил специальный загон для улиток с электрическим освещением, зимним подогревом и автоматической вентиляцией, за что получил из рук Калинина почётную грамоту и золотые часы.

С Никитой Сергеевичем они продолжали дружить, но уже почти не виделись. Тот уже был секретарём ЦК и кандидатом в Политбюро. В конце тридцатых отца, по просьбе Жданова, перевели в Ленинград, где он строил что-то секретное на Каменном острове. Моя мать, уже

со мной в животе, приехала к отцу из Москвы, чтобы разрешиться мною в «Снегирёвке» – ближайшем подходящем для этого месте от нашей новой квартиры. Говорят, что в честь этого события отец бросил пить. Мама погибла в 1941 году в поезде, в котором нас эвакуировали в Куйбышев, где отец опять строил что-то секретное. Я, конечно, ничего не помню, мне исполнилось четыре года, но дело было примерно так: начался налёт, поезд остановили, и в это время рядом с вагоном рванула бомба. Толстое оконное стекло разлетелось по купе, и один из осколков срезал мамину косу, а второй пробил ей височную кость. Привёзшие меня к отцу тётки рассказали, что я был весь в стекле и маминной крови, и они думали, что меня тоже убило, но на мне не было ни одной царапины. Отцу передали меня и мамину косичку. Он снова стал пить, а я стал переходить из одних женских рук на колени других.

Так продолжалось до нашего возвращения в Ленинград в 1945 году, когда мы с отцом на какое-то время остались вдвоём в нашей квартире на улице Жуковского. Отец продолжал пропадать на работе и пил. Но нам вместе было неплохо. Главной страстью моего отца оставалось чтение. Мальчишкой он читал всё, что попадалось ему на глаза. Книги, вывески, обрывки афиш, рекламные объявления, расписание поездов, стихи, церковные фолианты, учебники и календари. Даже молодой Горький не переварил бы эту смесь, но не мой отец. Он помнил всё, что пробежали его глаза. В его голове десятилетиями хранились тексты из обрывков дореволюционных журналов, которые выдавались командирам для сортирных нужд в Гражданскую войну и прочитанные им по дороге в нужник. Он помнил всю библиотеку «Вокруг света» и краткий курс ВКП(б), он помнил все номера квартир друзей и знакомых, имена и отчества их родственников. Он помнил даты сражений от Пунических войн и битвы при Фермопилах до побед маршалов Мюрата и Нея. Помимо этого, он знал технические характеристики сотен машин и механизмов. Он воистину был последним бессмысленным энциклопедистом.

* * *

На этом месте я наткнулся на большой белый конверт с порванным углом и двумя погашенными марками почты СССР номиналом 20 и 15 копеек. На нём почерком Пушкина написано фиолетовыми чернилами: «Материалы по экспедициям в Восточную Сибирь. Архивы географического общества. Дневники В. Арсеньева, не вошедшие в „Дерсу Узала“. Интересно. Доказательства. Нужно не забыть...».

В конверте оказались машинописные страницы, которые я привожу последовательно, по мере вынимания.

А. Белкин

III

Из дневников В.К. Арсеньева (1)

«Мы своими глазами видели, как молодая женщина, лоснящаяся от кабаньего жира, упала на спину, слегка раздвинула колени, упёрлась ступнями в землю, раскинула руки и замерла. Стараясь не дышать, мы вжались в мох и почувствовали, как под одежду проникла холодная и вонючая болотная влага. В этот момент бесшумно и величественно, как линкор, входящий в бухту, на тропе появился гигантский улитк. Двигаясь по упавшим листьям, как по стеклу, он удивительно быстро достиг лежащей на тропе женщины. Ни на секунду не задержавшись перед препятствием, животное поплыло между её раздвинутыми ногами, покрыв её всю, ткнулось мягкими рожками в запрокинутый подбородок и замерло. Туземка издала слабый стон и коленями сжала мягкое тело великана. Минуты три-четыре человек и зверь оставались совершенно неподвижными, затем лёгкая судорога пробежала по телу аборигенки, а через мгновение её уже сотрясала настоящая лихорадка. Спина женщины неестественно выгнулась, пальцы рук царапали землю, и сквозь жир на лице проступила испарина. Улитк-великан всей своей тяжестью продолжал прижимать её к земле в полном молчании. Казалось, что сама природа замерла перед величиим этого антидарвинского акта. Ни одна ветка не шевелилась на огромных кедрах над нашими головами, даже цикады внезапно умолкли, и только рыжий дальневосточный муравей перед моим носом как ни в чём не бывало продолжал тащить парализованного мотылька к невидимому муравейнику. Вдруг женщина захрапела, и в этот момент исполин начал движение. Без видимых усилий он прополз по всему телу женщины, на время совершенно закрыв её от нас, и так же величественно, как и появился, стал удаляться по тропе. Через минуту-другую лишь блестящая на траве в лучах низкого солнца слизь напоминала нам о том, что это был не мираж. Мы продолжали прижиматься к земле, пока женщина-тунгуска или айха (судя по красным бусам на щиколотках) не поднялась, огляделась по сторонам и, легко ступая босыми ногами, скрылась в кустах орешника. За всё это время мой верный Дерсу Узала не проронил ни слова. Мы встали и прошли по оленьей тропе до примятых листьев мелкого папоротника. Дерсу нагнулся, взял пальцами сгусток слизи, растер на ладони, понюхал... и решительно загородил мне дорогу».

Отчёты и дневники русских путешественников XIX-го века до сих пор являют собой непревзойденные образцы научной точности и скрупулезного анализа.

Факты, зафиксированные одной экспедицией, проверялись и дополнялись следующими, пока общая картина не становилась максимально ясной, оставляя грядущим учёным лишь ликвидировать незначительные лакуны. Запись о гигантской улитке сделана В.К. Арсеньевым в 1910 году в 128 километрах к востоку от Сихоте-Алиня, и она кажется невероятной, но он был не один на этой забытой Богом и людьми непредставимо огромной окраине Российской империи. Честь первым пересечь хребет принадлежала М.И. Венюкову. В 1857 году по поручению графа Муравьёва-Амурского он отправился по реке Уссури, потом по её притоку Улахе и по реке Фудзину. Затем перевалил через Сихоте-Алинь и вышел на реку Тадушу. Венюков хотел было выйти к заливу Владимира, но собравшиеся в большом количестве китайцы преградили ему дорогу. Он воздвиг на берегу деревянный крест с надписью «Был здесь 1858. Венюков». Никаких упоминаний о странных животных, кроме жалоб на полчища гнуса и комаров. 1859 год был особенно богат исследованиями, одна экспедиция следует за другой. Астроном Гамов определяет крайние географические координаты на реке Улахе (между устьями рек Фудзин и Ното). В том же 1859 году Уссурийский край посетил академик М.И. Максимович. Результатом стало обширное ботаническое сочинение, за которое он получил премию имени П.Н. Демидова. Насколько ценны работы Максимовича, говорить не приходится, это известно каждому,

кто хоть мало-мальски интересовался литературой о местной флоре. Он первым установил, что почти всё растущее в Уссурийском крае есть флора Маньчжурская, но по интересующей нас проблеме ни слова. Министерство государственных дел для исследования лесов в Уссурийском крае командировало корпуса лесничих капитана Будищева и топографов Корзуна, Лубенского и Петровича. Экспедиция Будищева работала с 1867 года. Одновременно с Будищевым Уссурийский край посетил известный натуралист Р. Маак. Совместно с этнографом Брылкиным он прибыл к устью Уссури и поднялся до реки Сунгачи. Исследования Маака поражают тонкостью наблюдений и громадным количеством собранного материала. Множество видов растений и насекомых названы его именем. И тут на странице, посвящённой размножению женьшеня, мы находим рисунок улитки с надписью, сделанной, по-видимому, Брылкиным. «Вчера ночью палатку с двумя казаками завалило. Услышав шум, мы вылезли из мешков, думая, что на них упало дерево, ночью был ветер. Оказалось, что на их палатку влез огромный слизень. Он был размером с пастушью собаку. Пока я пытался его замерить и зарисовать, мои солдаты принялись рубить его шашками. Бедное животное умерло почти мгновенно. Потом на костре они варили из него суп. Предлагали и мне. Меня чуть не вырвало от этой гадости. Рассказал об этом случае Мааку, он мне не поверил». Это первое упоминание о гигантских улитках, которое мне удалось обнаружить в архивах Императорского географического общества.

Вслед за Мааком в течение трёх лет исследованием края занимался выдающийся геолог и палеонтолог Ф.Б. Шмидт. С ранней весны 1860 года он ощупал каждый камень на берегах Амура от устья реки Сунгари до поста Николаевского с заходом к озеру Кизи и в залив Де-Кастри. Фёдор Борисович Шмидт в своём докладе, который он сделал по возвращению в Петербург, говоря о любопытной фауне восточной Сибири, произнёс странную фразу: «Должен заметить, господа, что в этом практически неизвестном для нас регионе обычные для нас животные могут превращаться в монстров. Я лично наблюдал огромных летучих мышей размером с орла и улиток размером с пони». Коллеги-учёные вежливо улыбнулись этой шутке академика, но больше Шмидта на Дальний Восток не посылали.

В 1871 году Уссурийский край навещает лучший синолог того времени архимандрит Палладий. Архимандрит умер по дороге в Россию в 1872 году, и из трудов этого учёного сохранились только отрывочные письма, но тем не менее мы находим в них следующую запись: «Каких только животных не сподобил Господь послать населить сии дикие места. Есть здесь и рыба, множество видов, и пушной зверь с мехом под всякий вкус, и птицы особенно огромны, бродят медведи, тигры и улиты...».

Если глубоко религиозный человек и учёный ставит в один ряд тигров, медведей и улиток, то не обратить на это внимание невозможно. Интенсивность изучения края нарастала. Основатель общества изучения амурского края Ф.Ф. Буссе занимался разбором архива Палладия. В свою очередь его работы продолжил князь П.А. Кропоткин.

В 1882 году И.П. Надаров, знаток Уссурийского края, поднялся по Бикину до местности Цамо-Дынза и по Иману до устья реки Тайцзибери. Об улитках ничего...

В 1894 году капитан Генерального штаба С. Леонтович производит съёмку реки Тумнина и составляет аروحско-русский словарь. Вслед за ним посылаются охотничьи команды 10-го линейного батальона и 2-й сибирской стрелковой бригады. Перевалить через Сихоте-Алинь им не удалось. «И после невероятных решений, вплоть до человеческих жертв включительно, они возвратились, передав подарок екатеринбургскому губернатору шкурки горностая и раковину гигантской улитки».

«Огромные расстояния, дикость тайги, бездорожье и полное отсутствие жилых мест были главными причинами, почему Сихотэ-Алинь и земли к востоку от него оставались так долго неизвестными» – так писал В.К. Арсеньев в 1911 году.

IV Дзержинский Феликс

После Моисея Урицкого, убитого романтическим графоманом Лёней Канегиссером, Петроградскую чрезвычайную комиссию возглавил Глеб Бокий. Во главе Всероссийской чрезвычайной комиссии стоял Феликс Эдмундович Дзержинский. Наркоман со стажем, безумно честолюбивый, иезуитски хитрый и педантичный, как провизор, он мог работать по шестнадцать часов, изумляя «товарищей» бухгалтерской памятью, нетривиальными решениями и холодной жестокостью. В то время как в разоренной стране был голод и лилась кровь, за шторами его удобного кабинета на Гороховой, 2, всегда горела лампа и вовремя подавался чудесный «дореволюционный» обед, обязательно с десертом.

Феликс Эдмундович, по сравнению со своими сотрудниками в кожаных тужурках, которые даже протокола не могли написать, был человеком книжным. Библиотека в ЧК была отличная! Сотни книг из петроградских квартир после обысков и арестов свозили каждый день на Гороховую. Часто Дзержинский лично просматривал очередное «поступление» и кое-что сразу отправлял к себе в кабинет. Может быть, он сам натолкнулся в архивах или частных письмах на упоминания о странных животных или же сознательно искал материалы, с ними связанные, но 23 марта 1919 года начальник особого отдела ВЧК Петерс получает очень странный приказ: «Взять под особый контроль все пруды дворцовых парков Петродворца, Стрельны, Павловска, Гатчины и бывшего имения Приютино. Выставить охрану у ворот парков из латышских стрелков. Также при производстве обысков или ареста имущества обращать внимание на наличие аквариумов или других резервуаров с водой». Надо сказать, что во многих старых петербургских квартирах, не говоря уж об особняках и дворцах, в начале прошлого века было модным держать аквариумы.

В период 1911–1917 годов Петербург стал столицей аквариумистов. Во многих мастерских собирали аквариумы любых форм и размеров. В роскошном магазине братьев Савельевых на Кирочной улице продавались чёрные муллионезии, вуалехвостые японские телескопы, суматранские барбусы и жемчужные гурами. А на Сенной площади можно было купить бирюзовых и голубых дискусов, панцирника соломенного, гуппи всех цветов и даже красногубого лепорина. В 1916 году в особняке князей Юсуповых прошёл первый международный съезд «любителей аквариумов», где на столешнице из яшмы стояла чаша из хрустального стекла на 37 вёдер воды. Как писали «Ведомости»: «Собрание любителей рыб, что состоялось во дворце князя Юсупова, соизволил почтить своим присутствием Его Императорское Высочество Великий князь Николай Николаевич. Проведя в Собрании около сорока минут, Их Высочество соизволили осмотреть живые диковины и даже погоняли маленьким сачком сиамских рыбок, а затем отбыли в отменном расположении духа».

Журнал «Столицы и усадьбы» тоже поместил заметку: «В прекрасных комнатах Юсуповского дворца, убранных гирляндами живых цветов, стояли отдельно прозрачные вазы с водой, в которых медленно передвигались большие улитки весьма необычных форм и раскрасок...».

Следуя приказу своего начальника, чекисты, врываясь в квартиры, первым делом кидались к аквариумам, экспроприировали из них всю живность и везли в штаб на Гороховую. В приемной шефа чекист Коля Мукало, бывший ученик сапожника и волжский браконьер, выгнанный из рыбацкой артели, как эксперт занимался сортировкой доставленного. Из экзотических рыбок он тут же на спиртовке готовил для себя уху, а из улиток выбирал самых крупных и нёс в кабинет к Дзержинскому. Что делал с ними председатель ВЧК, оставалось абсолютной загадкой даже для его ближайших помощников Петерса и Менжинского. Закрыв на ключ дверь кабинета, Дзержинский отпирал сейф, доставал трёхлитровый буюкс с притертой пробкой, на

треть наполненный кокаином, крошил в банку белого хлеба, добавлял пару ложек молока и бережно запускал в неё улиток. Затем он закуривал и, любовно глядя сквозь стекло, приговаривал: «Попались, буржуйчики». Феликс Эдмундович не был похож на любителя животных. Да и кокаин, которым делилась с ним жена Ф. Раскольникова красавица Лариса Райснер, стоил дорого. Улитки нужны были ему для дела. Животные, помещённые в банку, быстро адаптировались, насквозь пропитывались порошком и впадали в анабиоз. В таком виде «живой кокаин» мог при определённых условиях существовать практически бесконечно. Но стоило их выпустить из банки, как с ними происходили удивительные вещи. Улитки-наркоманы без постоянного «корма» становились агрессивными, а некоторые из них начинали быстро расти. Когда эти мутанты достигали размера в 70–90 сантиметров, они были готовы для работы. Пару улиток в мешках переносили в узкий карцер, куда приводили заключённых, чаще всего женщин из интеллигентных петербургских семей. Что происходило в темном и узком каменном мешке размером 2 Ч 2,5 метра, не поддается описанию. Но через три-четыре часа несчастные жертвы в порванной, испачканной слизью одежде или сходили с ума, или были готовы подписать любую бумагу. Известно точно, что эксперименты с улитками Дзержинский практиковал до октября – ноября 1922 года. Известная эсерка Книтович, чудом пережившая ужасы первых застенков большевистской власти, чтобы быть расстрелянной в лагере под Медвежьегорском, в 1938 году оставила короткие записки в дневнике о первом аресте после революции: «За мной пришли два матроса и один в штатском, в кожанке, он был у них за старшего. Меня прямо среди ночи подняли с постели. Из вещей разрешили только накинуть халат. Так и повезли на Гороховую. Там, пока меня вели, успела заметить нескольких знакомых, некоторые в одном ночном белье. Меня затолкали в крошечный каменный чулан без окон. Я могла только стоять, ни сесть, ни лечь было невозможно, на полу вода была по щиколотку. Кажется, прошла вечность, пока дверь не открылась и не вошёл солдат с каким-то мешком. Не говоря ни слова, он развязал мешок и вывалил на пол что-то непонятное. Вдруг я поняла, что это было животное. Оно поползло к моим ногам, это чудовище, размером с ребёнка – улитка! Я потеряла сознание...». К весне 1923 года почти все жертвы улиток исчезли, так же как и сами животные, чтобы появиться в совсем другом месте.

Руководитель недавно образованного Наркомата внутренних дел Генрих Ягода был не менее ярким человеком, чем Феликс Эдмундович, но задачи, поставленные перед ним, уже изменились, и улиткам отвели другую роль. К этому времени большевики уже построили внутри страны ещё одну, от Сахалина, Колымы до Экибастуза, от Средней Азии до белорусских лесов. Нарком Ягода был великий строитель. Беломоро-Балтийский канал – первая грандиозная стройка, где в полной мере раскрылся его талант. На деревянном фасаде Главного управления строительством дрожал на северном ветру лозунг: «Построим канал голыми руками! Тачка и лопата – оружие пролетариата». Так и строили. Но нарком был непрост. Он распорядился найти и прислать в район строительства всех оставшихся улиток, рассчитывая при прокладке трассы канала использовать их феноменальную способность находить кратчайший путь от водоёма к водоёму. Заставить диких животных работать на великих стройках социализма – «гениальная идея». В особом лагерном пункте (ОЛП) недалеко от города Олонец возвели специальный барак с теплой вентиляцией и небольшим бассейном. Для его наполнения рядом соорудили небольшую насосную станцию с дизелем и проложили водопровод длиной одиннадцать километров до ближайшего лесного озера. К приезду дорогих улиток готовились основательно. Бывший майор внутренних войск Николай Белоконь, очевидец тех событий, вспоминал, как в барак с улитками на тачках два раза в неделю под усиленной охраной привозили свежие листья салата, морковь и виноград, в это время за дверь барака – минус сорок по Цельсию.

О практическом вкладе улиток в прокладку Беломоро-Балтийского канала ничего неизвестно. Так же как и том, что с ними стало после расстрела Генриха Ягоды. Может быть, они

тоже пошли по делу как «шпионы-вредители». Но когда писатель Бабель спросил своего соседа по дачному посёлку наркома Ежова: «Правда ли, что на Беломорканале работали огромные улитки?», тот ответил: «Была такая бригада, но толку от них было мало. Дохли, как мухи».

Однако не только чекисты безраздельно пользовались улитками, высшее партийное руководство страны тоже проявляло к ним интерес.

При Сергее Мироновиче Кирове, «мальчике из Уржума», улитки тоже «служили». Но о роковой связи с животными этого крупного партийца надо рассказать особо.

V

Друзья животных. Киров

Легенды гораздо удобнее, чем правда. И живут они дольше. И в бытовом, обиходном, застольном смысле они вполне комфортны. Ну невозможно же в семье вечером, за чаем рассказывать о том, как твоих друзей, многолетних товарищей, добрых соседей утром забирали из теплой постели, а уже днём избивали в подвалах, чтобы потом лишить жизни пулей в затылок или отправить на медленную смерть куда-нибудь в Экибастуз или Воркуту. Совсем другое дело, когда погладишь вернувшегося из школы внука по стриженной головке и расскажешь ему историю наших побед и про тех, кому мы обязаны всем, что имеем. Про наших вождей, скромнейших в быту верных ленинцев.

В народе, особенно среди ленинградцев, переживших тридцатые годы и чудом уцелевших в блокаду, прочно укоренилось мнение о добром и человечном Сергее Мироновиче Кирове. Он и детей любил, и рабочего человека понимал как никто, и жил скромно, и даже по городу ходил (подумать только) без охраны. Жил Сергей Миронович на Каменноостровском проспекте, дом № 26–28, в барской квартире, куда специально для него выписали из Америки и поставили на кухню настоящее техническое чудо – холодильник «General Electric». Именно из этой квартиры он каждое утро и выходил и, не садясь в машину, любил пройтись пару сотен метров по одной из самых красивых улиц города. Зная об этой привычке главы Ленинграда, десятки дворников всю ночь зимой подметали и убирали снег, а летом чистили и поливали водой тротуар. Сергей Миронович с удовольствием шагал по блестящему асфальту, как простой ленинградец, «совсем без охраны», и думал о предстоящих на сегодня делах. За ним на почтительном расстоянии бесшумно двигался чёрный правительственный лимузин. Но как только открывалась дверь его квартиры и он входил в лифт, служба его охраны уже начинала работать.

Возможно, в то время это была самая эффективная служба безопасности. Как только Киров появлялся на улице, метрах в тридцати впереди от стены дома отделялся пьяный матрос с гармошкой, а иногда с барышней. Он обычно шёл, шатаясь из стороны в сторону, лузгая семечки или куря папироску и смачно сплевывая на тротуар. За ним, как бы преследуя его, шли два милиционера. Они нагоняли матроса и просили предъявить документы. На самом деле это были короткие совещания с рекогносцировкой на местности, а вместо документов матрос быстро передавал бумажки со следующим изменением маршрута, а затем, снова изображая пьяного, уходил вперёд. Пожилая мать с ребёнком-дебилем также появлялась недалеко от дома минут за пять до выхода Сергея Мироновича. ребёнком-дебилем был старый большевик-конспиратор Н. Ольшанский (1895–1937), которому Киров доверял безоговорочно. Ольшанский до революции прославился тем, что, находясь в ссылке, отказался справлять нужду в тот же нужник, который посещал осужденный за растрату казачий ротмистр. Он заявил, что «политические» не могут сидеть орлом над «уголовным говном!». И добился, что для него и его товарищей вырыли отдельную яму и соорудили над ней будку из досок. Но строго-настрого запретили оставлять на стенках антиправительственные надписи и похабные стишки. Его «матерью» работала лучший снайпер ОГПУ Ольга Вескова (1905?–1936). На «прогулке» она левой рукой держала «ребёнка», а правой в кармане юбки сжимала миниатюрный, но мощный браунинг. Замыкали группу «обыкновенных прохожих» два профессора в приличных пальто с накладными бородами и в специальных очках. Один из них шёл, изящно опираясь на трость, внутри которой находился тонкий стилет, пропитанный смертельным ядом, а за всеми ними задумчиво шагал огромного роста дворник-татарин с метлой на плече. Конечно же, это был никакой не татарин, а японский коммунист, борец сумо, переправленный в Советский Союз по

линии Коминтерна. Под тюбетейкой на бритой голове у него находилась рация, а метла служила антенной.

Но самая надежная защита у Кирова всегда оставалась при нем, в его рабочем кабинете – это сокол-сапсан, которого он в детстве подобрал выпавшим из гнезда птенцом. Маленький Серёжа выходил птенца, который превратился в его верного и преданного друга. Всем известно, что эта птица свободно летала по длинным коридорам Смольного, никому не позволяла себя трогать, никогда не брала корм из чужих рук и имела право залетать в кабинет Кирова и днём, и ночью. В аппарате Смольного к птице привыкли, а высшие партийные чины в Москве посмеивались над такой связью и в шутку даже просили Кирова одолжить им сокола для охоты. Но Сталин как горец и грузин терпеть не мог эту степную птицу. Он лишь улыбался в усы, курил трубку и, как всегда, до поры до времени скрывал свои истинные намерения. Огромный аппарат ГПУ тщательно следил за сапсаном, но даже не мог приблизиться к нему. Ежедневные подробные отчеты шли в Москву. Генерал Власик лично приносил их Сталину, а затем подшивал в особую папку с надписью фиолетовыми чернилами «Воздушный змей» и оставлял на столе у Хозяина.

Сокол никого не подпускал ни к себе, ни к Миронычу. Он сразу замечал появление рядом с Кировым незнакомых людей, мгновенно обнаруживал слежку или засаду. Сапсан с огромной высоты, как молния, внезапно падал с неба на голову очередного топтуна и впивался ему острыми когтями в голову и глаза. Храбрая птица не раз спасала своего хозяина. Наркомат внутренних дел терял своих лучших сотрудников, а Коба был в ярости. Ленинград – огромный и не родной ему город, родина всех революций и переворотов, сам Киров, ставший слишком уж популярным, да ещё эта чертова птица! В его маниакально подозрительной голове сплетались в единый нехороший клубок. Пора было им напомнить, кто есть настоящий хозяин в стране. Эндшпиль закончился. Операция «Воздушный змей» вступала в завершающую, конечную и кровавую стадию.

Для роли убийцы-одиночки выбрали Леонида Николаева, партийного, никому не известного мелкого функционера, заведующего Лужским отделом Всесоюзного общества «Долой неграмотность». Николаев – бывший комсомольский вожак, таксидермист, хулиган и голубятник – придумал план. Он решил использовать заложенные самой природой охотничьи инстинкты сокола-сапсана и взять птицу на живца. Практическое руководство поручили секретному отделу «специальных операций» и его начальнику (тогда ещё не генералу) Павлу Судоплатову. Судоплатов, как всегда, принялся за дело тщательно и не торопясь. Он лично обошёл по крышам весь огромный комплекс построек Смольного института, делая пометки в блокноте. Наконец он нашёл то, что искал. Точно над кабинетом Кирова между двух труб за два дня построили небольшую голубятню, совершенно не заметную с земли. На всякий случай ещё одну, точно такую же, устроили на одной из крыш хозяйственного заднего двора. Из «внутреннего почтового управления Кремля» выделили десяток голубей «почтарей» и турманов, посадили в клетку и ночным поездом в plombированном вагоне тайно отправили в Ленинград (до 1963 года секретные документы внутри Кремля доставлялись специально обученными голубями скоростных пород). Также из Москвы доставили и посадили в одну из голубятен старого орла-перепелятника. Его предварительно прооперировали лучшие нейрохирурги в клинике на Лубянской площади, где в присутствии ограниченного круга из высших чинов НКВД орлу удалили мозжечок.

Грозный хищник стал абсолютно безопасным. Через месяц голуби совершенно привыкли к нему. Понятно, что на всех приготовлениях стоял гриф «абсолютно секретно» и сам Хозяин зорко следил за развитием событий.

Наконец голуби были готовы. Первого декабря 1934 года, ранним утром, проникший накануне в Смольный Николаев выпустил голубей в коридор на втором этаже.

В ту же минуту из кабинета Кирова вылетел сокол. Но турманы, привыкшие не бояться орла-инвалида, не проявили к нему никакого интереса. Сапсан бросался от одной птицы к другой, но те даже не пытались спастись. Они, окровавленные, падали на пол, как агнцы, обречённые на заклятие, даже не успев понять, что происходит. Обезумевший сокол прекратил охоту, опустился на столик дежурного и, наклонив голову набок, крепко задумался. Удивленный долгим отсутствием друга, из кабинета вышел нахмуренный Киров. Последнее, что увидел Сергей Миронович, – белые перья, летавшие по пустому коридору «колыбели революции», а на плинтах бывшего Института благородных девиц, виднелись капельки голубиной крови. Раздался выстрел, и через секунду к ней прибавилась ещё и человеческая. Кровь белых турманов смешалась с кровью верного ленинца... «Эх, огурчики, помидорчики... Сталин Кирова пришел в коридорчике...»

Кроме верного сокола, у главного ленинградского коммуниста были ещё животные. В приемной в том же Смольном устроили специальный вольер для улиток. Этот странный зверинец, конечно, вызывал разные разговоры за спиной и даже шутки ближайшего партийного окружения, пока один из товарищей не спросил: «Слушай, Мироныч, зачем тебе эти твари?». И он кивнул в сторону вольера. Киров засмеялся и сказал, что улиток ему прислал Сталин, что они обладают острым классовым чутьём и что настоящим коммунистам их бояться не стоит. Кроме того, «они совсем ручные», добавил Киров. После этого партийцы интересоваться животными перестали. В 1933 году после убийства Кирова и начала так называемого «Ленинградского дела» всех близких к Кирову животных (кроме старого орла из голубятни, которому оторвали голову сразу после выстрела Николаева) вывезли под конвоем в Москву и поместили на Лубянку. Таким образом, история «зоопарка» в Смольном закончилась, но в протоколах допросов свидетелей по «Кировскому делу» есть кое-что для нас интересное. Так, некая Нина Розовская, проходившая одновременно по нескольким делам о «троцкистском» заговоре и член партии РСДРП с 1912 года, после применения к ней «специальных мер воздействия» призналась, что «она долго подбиралась к этим тварям, пытаюсь их приручить, чтобы потом заминировать и взорвать в нужный момент». Бедная Розовская была не одинока в своих стремлениях. Так, бывший помощник Кирова по фамилии Белых, повиснув с перебитыми ногами на дыбе, сознался, «что по заданию английской и японской разведки специально разбил в приёмной своего начальника медицинский градусник, вылил из него ртуть в кормушку для улиток, решив таким изуверским способом умертвить личный подарок тов. Сталина». Также он признался, что «много раз стрелял в сокола-сапсана отравленными кнопками из рогатки, переданной ему Зиновьевым. Но ни разу не попал». Вывод из всего этого очевидный: бедный Сергей Миронович жил и работал среди изуверов-заговорщиков, для которых убийство улитки, человека или птицы было делом привычным и плёвым.

Следующий секретарь Ленинградского обкома Андрей Жданов, в отличие от Кирова, – бесцветный и бессовестный холуй. Он прочёл за жизнь несколько книг и полгода учился играть на фортепиано. Этим он выделялся в Политбюро среди совершенно неграмотных кагановичей, маленьковых, буденных и молотовых. Он считался знатоком и экспертом по вопросам культуры. Сталин благоволил своему новому фавориту, по любому поводу вызывал Жданова в Москву и требовал его присутствия на ближних и «дальних» дачах, где, зная о его больных почках, заставлял пить вино и вести бесконечные ночные разговоры, в том числе и об искусстве. На следующий день Жданов просыпался отёчный, с изжогой, мучительной отрыжкой и головной болью, но стол уже вновь накрыт. Хозяин уже курил трубку и ласково приглашал: «Садысь, Андрей, в ногах правды нэт», любезно отодвигая плетёное кресло. И всё начиналось сначала. Купаясь в фаворе, Жданов иногда терял бдительность. Это было чрезвычайно опасно. Все члены кровавой банды искренне ненавидели друг друга и только ждали момента, чтобы подписать вчерашнему лучшему другу смертный приговор. А над всеми их смертельными шалостями зорко наблюдал усатый, с изъеденным оспой лицом пахан в скромном пар-

тийном френче, которого эти закалённые реками пролитой крови и предательствами мужчины боялись, как впервые беременная – выкидыша. Андрей Жданов расслабился. Произошло это в Ленинграде. И не где-нибудь, а у себя дома, когда он был один. Случилось это в резиденции на Каменном острове. Уже убрав грамм 600 «Столичной» под белужью икорку, он краем глаза заметил, как из специального загона на клумбу из анютиных глазок медленно вползла крупная улитка. Как она смогла преодолеть прочную железную сетку и бетонную, с отрицательным наклоном стену, оказалось совершенно непонятно. Минуты две член Политбюро и секретарь ЦК молча смотрел на ползущее в лучах заходящего бледного северного солнца животное, шевелил мокрыми губами и что-то соображал. Затем он резко опрокинул рюмку и вызвал начальника охраны. Молодой, с бабьим лицом полковник госбезопасности бесшумно возник справа от кресла и замер, взяв под козырек. «Видишь эту херовину? – Жданов кивнул в сторону лужайки. – Поймать и на кухню! На бифштекс её, живо!» – «Есть, товарищ Жданов!» – откликнулось приведение и исчезло. В этот же момент почти военная система «специальной» дачи красного наместника уже заработала. Не прошло и десяти минут, а на столе уже дымился правильно поджаренный кусок мяса, сервированный классическим зеленым горошком с майонезом и веточкой петрушки. Справа от тарелки лежал старорежимный серебряный нож, а слева, ему в пандан, вилка из того же набора. Но новый советский князь презрел эти мелкобуржуазные условности, он надежно, по-мужицки схватил кусок с тарелки, понюхал его, как овчарка, и только потом впился в него ещё крепкими жёлтыми зубами. Мясо таяло во рту. Оно было восхитительным. «Хороша, сволочь». Жданов ладонью вытер губы и потянулся к рюмке. Заботливые невидимые руки уже наполнили её. Жить было хорошо и совсем не страшно. Он чувствовал себя вторым человеком в стране, настолько тесно связанным с Первым, что, случайно скользнув взглядом по аппарату прямой связи, стоявшему отдельно на казённом дубовом столике, решил просто позвонить Самому и поделиться по-дружески, как партиец с партийцем, новым кулинарным рецептом. Слегка пошатываясь, он подошёл к «вертушке» и снял трубку. «Слушаю», – совсем рядом раздался знакомый голос, от которого замирала вся огромная страна. Он мгновенно протрезвел, но отступить уже было некуда. «Товарищ Сталин, – стараясь не икнуть, начал он бодро, – я тут улитку зажарил. . . Вы знаете, мясо ну прямо куропатка, даже ещё лучше! Нежная, сволочь, как телятина. . .» Трубка молчала.

«Вы слышите меня, Иосиф Виссарионович?» – «Много съел?» – сухо, без всяких эмоций спросили в трубке. «Да нет, один кусок всего, вот, решил Вам позвонить. . .» – «Смотри, нэ обожрись», – буркнул Сталин и бросил трубку. По-видимому, именно в этот момент дальнейшая судьба Жданова уже решилась.

Сталин проявлял к улиткам трогательное внимание. Может быть, это объясняет его патологическую недоверчивость к народам, употребляющим в пищу различных моллюсков, – англичанам, японцам и особенно французам, для которых поедание улиток – национальная традиция. От них он ожидал любого вероломства, не то что от немцев с их по-человечески понятным пивом с сосисками. Сталин испытывал к улиткам какое-то мистическое чувство, и чем больше по размеру было животное, тем больше внимания ему уделял вождь.

В Кремле по его распоряжению огородили газон, сразу прозванный «улиткин луг», на котором мирно паслись несколько животных. Дети партийных небожителей, живших на территории Кремля, часто играли с ними, приносили им свежие веточки, пытались накормить улиток сыром и колбасой и обижались, когда животные отворачивались от жареных пирожков с повидлом или луком. Охранники, как могли, уговаривали детей не бросать пирожки и мороженое на газон, они отвечали за улиток головой, но что они могли сказать дочке Сталина Светлане или сыну Берии Серёже.

Старшее поколение также хорошо относилось к диковинным животным. Анастас Микоян, показывая на них рукой, смеясь, говорил Ворошилову: «Смотри, Клим, покрепче твоих танков будут, где хочешь проползут, и ремонтировать не надо. Слушай, Клим, нарисуй

на них звезду и поставьте на границу. Поляки от страха обо-срутся!». – «Ты, Анастас, дурак! Как же я их на границу пошлю, они ж службы не знают, уползут, шельмы!» – отвечал маршал и хлопал друга по спине. Лаврентий Берия не любил улиток и как-то обронил начальнику сталинской охраны Власику: «У меня и так людей не хватает, а тут, б..., слизняков охранять надо». Но пока улиткам в Кремле ничто не угрожало. Великий вождь и Учитель велел их кормить и охранять, всем остальным следовало исполнять.

Как-то на даче Сталина в Крыму, на веранде, после десерта из лесной малины со сливками и коньяком Сталин, казалось, задремал в кресле. Рука с потухшей трубкой покойно лежала на коленях. Он откинулся в кресле, подставив голову чудесному сентябрьскому крымскому солнцу. Белая полотняная фуражка с козырьком покрыла тенью лоб, глаза и часть носа. Тихо, тепло, как бывает после пяти вечера в Крыму на старых дачах недалеко от моря, в сентябре. За столом на веранде, как обычно, «ближний круг». Глядя на Хозяина, все старались говорить тише. Обед давно закончился, но подняться и уйти никто не смел. Так и продолжали все сидеть, разморенные тяжёлой смесью водки, красных и белых вин с полировкой коньячком, с набитыми животами и потными подмышками, вяло отмахиваясь от прилетевших с пляжа белых мотыльков. В этот момент Берия, наклонившись к Кагановичу, очень тихо, одними губами спросил: «Скажи мне, Лазарь, что ты думаешь об улитках? Я понимаю, умные, конечно, животные, но на кой хрен их у нас в Кремле держать?». Насторожившийся Каганович ещё не успел открыть рта, как над притихшим столом раздался такой родной до ужаса голос: «А чем тэбэ, Лаврентий звэри в Крэмле мешают? Тебэ что, жить нэгдэ?». Хитрый Лаврентий тут же нашёлся: «Да я подумал, Иосиф Виссарионович, что, может, им в зоопарке лучше будет и веселее, там звери кругом». Сталин вставил потухшую трубку в рот: «Это тебэ, Лаврентий, в зоопарке спокойней будет, у тэбя тоже звери вокруг». Сталин на удивление легко поднялся с кресла и ушел в дом. До ужина можно было перевести дух и остальным. В полном молчании гости покинули веранду.

В июне 1939 года три большие улитки принесли приплод. На свет появились семь маленьких детёнышей. Всем присвоили номера, поставили на довольствие 2-й категории (как кандидатов в члены ЦК) и дали имена. Звали малышей так: Ликбез¹, Звёздочка, Конармия, Пухляк, Кавэжэдэ², Ласточка и ОСОАВИАХИМ³. Сталин утвердил список и велел передать всех улиток на баланс Сельскохозяйственной академии. Ему было некогда, приближались тяжёлые времена, но он продолжал держать эту ситуацию на контроле, как и тысячи других. Видимо, в отношении улиток он имел долгосрочные планы, о которых не знал никто, даже всемогущий Берия. В сентябре 1942 года он приказал эвакуировать животных в глубокий тыл и выделил для сопровождения роту охраны из железнодорожных войск. Есть некоторые данные, свидетельствующие, что Сталин думал как-то использовать улиток в создании или испытаниях нового оружия – будущей атомной бомбы.

Интересен разговор, состоявшийся между академиком Курчатовым и генерал-лейтенантом НКВД Лерманом.

Курчатов. Мне пришла шифровка из Москвы. Принять груз и разместить в новой лаборатории. И знаете, что за груз?

Лерман. Что?

Курчатов. Улитки! Огромные улитки, и ещё детёныши! Вы не знаете, для чего они их присылают?

Лерман. По нашей линии они не проходили. Это точно, иначе я бы знал.

Курчатов. Кто же мне их присылает? Они там что, с ума посходили?!

¹ Ликбез – ликвидация безграмотности.

² КВЖД – Китайско-Восточная железная дорога.

³ ОСОАВИАХИМ – Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству (1927–1947 гг.).

Лерман. Тише, прошу вас. Это с самого верха приказ, больше некому.

Курчатов. Вы что говорите... Сталин мне улиток... шлёт?

Лерман. Я, заметьте, этого не говорил. Но улитками только товарищ Сталин распоряжается.

Курчатов. И что прикажете с ними делать?

Лерман. Да вы не волнуйтесь, Игорь Васильевич. Придёт груз, поступит и распоряжение.

Сталин долгие годы готовил улиток для Большого дела, но для какого? Какую судьбу он им определил? Успел ли он осуществить задуманное?

VI

Италия. Челлини. Осень 1534 года

Не в самом центре Рима, во дворе старого, времён Марка Лициния Красса, огромного каменного сооружения, построенного ещё при цезаре Августе для сушки стволов ливанского кедра, лучшего дерева для строительства, стоял ещё один дом, с высокой крышей и покрытыми охрой толстыми стенами. К южной стене дома примыкал широкий черепичный навес, дававший тень. Вчера над городом прошла первая с начала лета гроза, но солнце уже успело высушить лужи, и день обещал быть ещё более душным. Двор покрывали осколки белого камня, по которому в поисках жидких кустиков травы бродили две тощие овцы и индюшка с цыплятами. В центре двора видны остатки очень старого колодца, который, по-видимому, ещё действовал, рядом на деревянной скамье сушились два льняных покрывала. В зелёном от патины медном тазу с двумя ручками ещё оставалась вода, и, отражая солнце, она расплавленным золотом была в глаза. Под навесом стояли и лежали огромные куски камня, который искрился на сколах, как кусок дорогого азиатского сахара. Был полдень, середина июня, и воздух неподвижен и сух, шёл тысяча пятьсот тридцать четвертый год.

Бенвенуто с трепетом в сердце вошёл во двор. Он, непревзойденный мастер, на равных говоривший с кардиналами, дерзивший влиятельным аристократам, драчун и храбрец, избалованный заказами и деньгами, затаив дыхание, приближался к жилищу Бога. Он находился в Риме уже сорок два дня, снял мастерскую на Тибре у Каменной пристани, где начал работать одну «вещицу» для благородной синьоры Полетти. Рисунок вышел отличным, воск для литья он купил самый лучший, но местная глина оказалась слишком зернистой, с примесями, она не подходила для тончайшего золотого литья, и её приходилось растирать и готовить. Он отправил письмо в Венецию своему другу Франческо, чтобы тот прислал ему корзину белой «венецианской земли», но то ли письмо затерялось, то ли Франческо уехал в Милан, но просьба его осталась тщетной, и это его раздражало и тормозило работу. Правда, за это время он сделал ещё один рисунок пряжки с двумя конями и всадниками, и такой хороший, что решил показать его Самому, с которым давно мечтал познакомиться, втайне надеясь, что тот уже знает его имя. Два дня назад подружка синьоры Полетти и жена Антония Ланди, Бьянка, зашла к нему в мастерскую и, увидев этот прекрасный рисунок, предлагала за него восемьсот золотых эскудо, но он нашёл в себе силы вежливо отказать ей. Сейчас этот рисунок, сделанный свинцовым карандашом с гризалью и белилами на добротной бумаге, был с ним. Он висел на плече, в планшете из двух палисандровых дощечек, скреплённых серебряным зажимом, в руках у него ничего не было.

Челлини благоговел перед этим местом и его хозяином. Пока Бенвенуто пересекал двор, он слышал непрерывный стук металла о камень и грубый отдающий болью в зубах звук абразивных кож, приглушенный занавесью из той же ткани, что сушилась у колодца. Звуки простые и обычные в этой части города, где среди откупщиков среднего достатка жили плотники, медники и каменотесы, вызывая уважение к каждодневному труду, правильности и непрерывности жизни. Тут безжалостное римское солнце наткнулось на случайное облачко и на минутку другую решило отдохнуть. В этот момент стихли удары и в доме. Пару раз кто-то ещё скользнул киянкой по резцу, и всё стало очень тихо. Из тёмного проёма, отодвинув занавеску, вышел юноша в переднике, обсыпанном белой пылью, и в простых сандалиях. Бенвенуто хищным глазом художника отметил широкую грудь, мускулистые длинные руки и потные, красивого рисунка плечи. В правой руке он держал корзину, из которой торчало горлышко бутылки.

Тут случилось некоторое происшествие. Во двор с улицы завернул ослик, запряжённый в небольшую двухколесную тележку. У осла была белая морда, истоптанные неровные копыта,

он был стар. Осёл уверенно дошел до середины двора и сам остановился напротив колодца, очевидно, что ему здесь всё было знакомо, и он отлично знал, что нужно делать. Рядом с повозкой, волоча по земле рваными туфлями, шёл почти чёрный человек в пестром пыльном халате, с серебряным кольцом в ухе и бамбуковой палкой в руке. Бенвенуто увидел узкий, не африканский разрез глаз, широкие скулы и толстые отечные щиколотки торговца. Что этот нищий – иностранец, видно было по повозке, по унылой, усталой походке и по изъеденному молью ослу. Последнее время таких типов в Риме стало полно, огромный город давал этим изгоям со всего света возможность стабильного нищенства, мелкой работы и относительно безопасность. Юноша в фартуке приветственно махнул рукой, и азиат стащил дерюгу, покрывавшую повозку. На ней стояли три плоские корзины для сбора оливок, наполненные яркой свежесорванной травой или листьями. Между корзин лежали аккуратно свернутые бухты канатов и толстых веревок. Молодой человек ещё раз махнул рукой, и азиат стал сгружать товар. Он снял корзины, поставил их на землю, затем сбросил на них верёвки. Пока он работал, осёл приподнял хвост и без всякого напряжения исторг из себя штук пять крупных клубней, упавших на землю, как детские мячики с песком. Юноша в переднике подошёл к торговцу, протянул ему несколько монет и что-то тихо сказал. Тот поклонился, легонько ткнул осла бамбуковой палкой, и ослик тронулся. Торговец исчез, оставив после себя связку веревок, пару корзин с зеленью и теплый запах свежего навоза.

В проёме дома появился пожилой мужчина с нестриженной седой головой, глубоко посаженными тёмными глазами и сломанным носом. Отодвинув в сторону занавес, он что-то крикнул в глубину дома. Бенвенуто Челлини стоял, как Лот, превращённый в соляной столп. Перед ним был сам божественный Микеланджело Буонаротти. Из глубины мастерской вышли ещё двое мужчин. Один из них нес жёлтую, как недозревшая тыква, головку дешёвого неаполитанского сыра и огромную, пахнущую миндалём рыжую буханку хлеба. Такой хлеб пекли в Риме, в Ватиканских пекарнях, и он не поступал в городскую продажу. Все четверо с достоинством сели на простую скамью, стоявшую в тени под навесом. Столом служила плоская плита мраморной глыбы, давно лежащая на этом месте, ушедшая в землю и посеревшая от времени и дождей. «Проходи к нам, благородный человек, – услышал Челлини глуховатый голос. – Выпей вина и расскажи, что заставило тебя стоять посреди двора под самым солнцем?» Ювелир не заставил обращаться к себе дважды.

Вино было молодым, кислым и самым дешёвым. На глиняных тарелках лежало несколько груш, яблоки и инжир. В центре стояла плошка с оливковым маслом, рядом с ней лежал кусок белой, как снег, сирийской соли. Шелуха от чеснока, крошки от ломанного руками хлеба, нарезанный толстыми ломтями мягкий сыр и простые кружки для вина сразу уничтожили условности. Солдатская простота обеда говорила о божественном пренебрежении мирским или о хозяйской скупости.

Челлини недолго думал об этом. Он высказал самое большое удовольствие от того, что видит великого Буонаротти, сел за стол, выпил вина и назвал себя. Люди за столом даже привстали при его имени и поклонились ему, потому что слышали о нём много лестного. А сам Буонаротти вслед за ними также сказал, что рад его видеть и просил быть без церемоний, взять сыр и вино и рассказать, что хочет. Бенвенуто сказал ему: «Пьетро Торриджани родом флорентиец, который бежал от гнева Лоренцо в Рим, говорил, что Буонаротти не сам обрабатывает мрамор, а что это делают за него специально обученные улитки. И что герцог Аркосский выгнал Торриджани за такие слова, а тот в гневе разбил уже готовую статую Мадонны. И я, человек бесхитростный и прямодушный, решил у тебя самого спросить, что это за улитки?».

Микеланджело опустил кружку с вином, медленно, по-крестьянски, тыльной стороной руки вытер губы и, обратившись к мужчине, сидевшему по правую руку, просто сказал: «Доменико, покажи любезному Бенвенуто нашу полировку». Доменико Чебрини, каменотёс

из Перуджи, не переставая жевать хлеб с сыром, встал из-за стола и кивком головы пригласил гостя следовать за ним. Остальные молча продолжали трапезу.

Внутри, в пыльных лучах бьющего через отверстие в потолке света Челлини разглядел три скульптуры, из которых одна производила впечатление совсем законченной. И первые две, ещё слегка намеченные, и последняя были невероятно хороши. Великий мастер пристрастно и восхищённо оценивал работу гения. Он несколько раз обошёл скульптуру, отмечая малейшие детали и держа в голове её всю. «Отличная работа, – почти неслышно бормотал сам себе Челлини. – А вот мрамор мог быть и получше, в Каррарах уже лет шесть новый карьер даёт лучший материал, могли там заказать». Среди инструментов, молотков и киянок, бронзовых циркулей, отвесов, дубовых клиньев, ящичков с воском и глиной, деревянных блоков и абразивных кож стояли чаны с давленным виноградом, кислый запах которого перемешивался с запахом сухого дерева, промасленных канатов и особым сухим вкусом дробленого мрамора. Зачерпнув из чана виноградную брагу, Доменико выплеснул её на одну из скульптур. Затем он куда-то скрылся, чтобы через минуту вернуться с большой ивовой корзиной. В корзине спокойно лежала гигантская улитка размером с малый мельничный жернов. Доменико бережно достал улитку, поднёс её к статуе, приложил к мрамору и замер. Огромный слизень, ушедший с головой в раковину, осторожно высунул сначала два рожка с шариками на концах, пошевелил ими, исследуя пространство, медленно вытянул голову с блестящими глазками, развернул хвост, плотно прижался к камню, повторив телом его малейшие изгибы, и неожиданно быстро пополз по скульптуре. Много повидал в своей бурной жизни Бенвенуто Челлини, не было случая, чтобы он растерялся перед обстоятельством или не нашёлся с ответом, но тут он стоял, открыв рот, как подросток, заставший мать без одежды, и только сердце его глухо стучало, ударяя, как пестик в ступку с зерном. «Без винограда ни за что ползать не будут, всё время надо подливать, – как эхо, вошёл в него голос Доменико. – Работа, конечно, долгая, но мрамор становится, как попка младенца, тёплым и нежным». Сколько времени смотрел Челлини на чудную работу улитки, он сам не знал. Он бы стоял и дальше, но крепкая рука легла на его плечо: «Любезный Бенвенуто, надеюсь, ты простишь меня, но солнце уже ушло за Капитолий, а нам нужно ещё поработать. – Микеланджело с веселым блеском в глазах смотрел на него. – Тебе, мой друг, улитки не нужны. Ты мастер тонкого искусства, а нам, грубым каменотесам, без природы не обойтись». И он мягко, но недвусмысленно чуть подтолкнул Челлини к выходу.

VII

Пункт приёма посуды. Ленинград

Однажды, обшарив всю комнату и вывернув все карманы, которые я считал своими, я понял, что денег нет совсем. В домашних штанах, которые были на мне, не было ничего. В старом пиджаке, который я надевал только летом, нашлась смятая пачка «Беломора», которую пришлось выбросить в помойку, потому что папиросы в ней все высохли и высыпались. В табачной трухе я выловил несколько монет, и всё. Есть ещё вязаная кофта с дырками на локтях и двумя маленькими карманами по бокам, но и на неё надежды мало, хотя я всё-таки проверил. Ничего! В брюках, кажется, вчера звенела какая-то мелочь. Они висели на спинке стула совершенно безрадостно. В них обнаружился гривенник, четыре трёхкопеечные монеты и две двушки. Двадцать шесть копеек я положил на стол. Последняя надежда оставалась на пальто. В нём оба кармана были дырявыми, и мелочь часто проваливалась за подкладку, что давало надежду на неожиданный результат. Сняв пальто с гвоздя, я положил его на кровать и стал медленно прощупывать подкладку по нижнему краю. Пальто не раз выручало меня в нашем продуваемом ветрами городе, не подвело и в этот раз. Под рукой явно нашлись деньги. Теперь надо аккуратно передвинуть каждую монетку обратно, найти дырку в кармане и просунуть в неё денюжку, а второй рукой вытащить её на свет божий. Это было совсем не скучное занятие с неизвестным заранее результатом. В итоге я выудил из недр подкладки монету в двадцать копеек, две монеты по пятнадцать, одну десятикопеечную, четыре копейки по копейке и одну двухкопеечную. Итог – шестьдесят шесть копеек. Очень прилично. Итак, кофта – семь копеек, брюки – двадцать шесть копеек и пальто – шестьдесят шесть копеек. Ровно девяносто девять копеек. Это хороший результат, но не слишком утешительный. На два дня можно растянуть, а потом – всё!

Я уже больше месяца нигде не работал, халтуры никакой не подворачивалось, и нужно что-то срочно придумывать. Можно, конечно, пойти в «Букинист» на угол Марата и Свечного, к знаменитому Коле, Николаю Петровичу, и сдать ему все семь томов «Отечественной войны 1812 года», юбилейное, к 100-летию войны с Наполеоном издание Сытина 1912 года. Коля своих никогда не обижал и платил максимум из того, что мог. Я бы сразу получил рублей десять-двенадцать, большие деньги! Но это были любимые книги моего отца и почти единственное, что у меня от него осталось. В тяжёлые минуты я много раз решал их продать, но потом останавливал себя: стоп, может быть ещё хуже, а книг уже не будет. И вот сейчас я смотрел на их чёрные с золотыми потертыми буквами переплеты и говорил себе: пусть ещё постоят, я что-нибудь придумаю. Но думать я был не готов, потому что страшно захотел есть. По длинному коридору я отправился на кухню, хотя выходить из своей комнаты мне вообще не хотелось. На кухне никого не оказалось, кроме жены соседа-таксиста, Любки. Или, как её все звали, Бигуди. Бигуди в ужасном лиловом халате стояла у своей плиты и жарила своему мужу-жлобу яичницу из трёх яиц. Когда я вошел, глазунья уже была почти готова, и она посыпала её нарезанным зелёным луком. Запах стоял такой, что у меня от желания убить её и накинуться на яичницу закружилась голова. Бигуди вдобавок, увидев меня, начала говорить о прогнозе погоды и спросила, как я думаю, брать ли ей с собой зонтик, или она так успеет добежать, не знаю куда... Вот сука!

Мысленно я посоветовал ей засунуть зонтик себе в жопу или ещё куда-нибудь... Но молча поставил на плиту чайник и вернулся к себе. Чай у меня отличный, чёрный, грузинский. Мне его выносил из гастронома в Замятинском переулке мой приятель. Он был поэтом и работал там грузчиком. Он меня страшно уважал за то, что я знал фамилию Манделыштам. Он тоже её знал, и это нас спаяло, потому что, кроме нас двоих, её даже произнести было некому.

Я щедро сыпанул чай в заварной белый фарфоровый чайник с нежными васильками по двум сторонам, Кузнецовского фарфорового завода, закрыл крышечкой и стал ждать, когда он по-настоящему заварится. Чай был моей жизнью и основной едой утром, днём и вечером. И я относился к нему серьёзно. Может быть, потому, что больше у меня ничего почти и не было.

Чай был готов, я сделал пару глотков, закурил вчерашний хабарик из пепельницы и почувствовал себя гораздо лучше. Теперь можно и нужно подумать о деньгах. В запасе несколько вариантов. Первый – простой, пойти с паспортом на Главпочтамт, в отдел доставки ценных бандеролей (там меня знали) и на день подрядиться разносить их по адресам. Но приходиться туда надо в шесть часов утра, а сейчас уже десять. Это тоже не синекура, подниматься и спускаться по нашим ленинградским лестницам от Исаакиевской площади до доходных домов Коломны и уговаривать расписаться соседей, когда самого получателя не было дома. Да и ноги у меня последнее время ныли. Так что этот вариант отпадал сам собою. Можно ещё поехать на Варшавский вокзал, в депо, мыть стекла и протирать сиденья в вагонах электричек, но это тяжёлая и нудная работа. Тамбуры в вагонах все закиданы окурками и заплёваны, а в некоторых воняет мочой, как в придорожном сортире. Правда, платили неплохо – три рубля восемьдесят копеек за вагон. Если уметь, то за день одному можно помыть четыре вагона, но ты всегда работаешь с напарником и бригадиром, так что за каждый вагон отдаёшь полтинник. Но главное, что договариваться о работе нужно было накануне. У них своих желающих из при вокзальных алкашей полно. Вариант тоже не годится.

И тут постепенно мне в голову начала закрадываться мысль. Чем больше я думал, тем больше убеждался в своей правоте. Я думал о том, что вся моя жизнь – сплошное говно. Мне много лет, но я совсем ещё не старик. Уже давно женщины на улице смотрят сквозь меня и вообще не замечают, а прилично одетые даже как-то норовят обойти подальше. Да и я уже разучился на них смотреть. У меня на столе никогда не лежала белая скатерть, как у отца, когда к нему приезжали друзья и он отправлялся на рынок и сам выбирал мясо, ветчину, пробовал икру, покупал осетрину и фрукты. Раньше я любил ходить в Музей Арктики и Антарктики на Марата. Там я мог бесконечно смотреть на макет с северным сиянием. Я вообще люблю рассматривать то, что мне нравится. Ледокол «Красин» с чёрным бортом и красным флагом на антенне стоит посреди бесконечного льда, а к нему бегут спасённые Папанин с товарищами и собачка. Все кричат «ура» и обнимаются на страшном морозе. Ещё очень интересный стенд под стеклом назывался «Продукты для обеспечения жизнедеятельности полярников на станции „Мир-2“». Я его внимательно изучил. Там присутствовали: тушёнка говяжья вологодского мясокомбината им. Микояна, сгущённое молоко, банка растворимого кофе «Бразильский» (Москва, завод им. Бабушкина), сервелат «Столичный», фасоль в томатном соусе, каша гречневая и овсяная, макароны «Ракушка», консервы «Мясо рябчика, обжаренное в брусничном желе» (консервный завод г. Орел), мёд «Липовый» из Воронежа, сало, копчёное сало (колхоз им. Шевченко, г. Харьков), «Набор сухофруктов, чернослив, курага, инжир» (Абхазская фабрика № 5), сыр «Пошехонский» и «Костромской», «в вакуумной упаковке», чёрный пористый шоколад (изделие фабрики Крупской) и даже бутылка армянского коньяка, пять звезд. Я, когда это всё увидел, сразу захотел стать полярником. Сейчас я даже не могу вспомнить, когда там был последний раз... лет пять назад или шесть. Раньше у меня были приличные вещи. Сейчас пара вздувшихся на коленях брюк, грязное пальто с рваными карманами и стоптанные говнодавы.

И ещё я вспомнил, что давно не ходил в баню, хотя Фонарная баня, или, как говорят ленинградцы, «Фонарь», находилась у меня под боком, через два дома. Наверно, от меня воняет, но сам я к себе привык, а проверить было не на ком. От соседей тоже воняло, но этого никто не замечал.

Я всю жизнь читал книжки. Теперь у меня их почти не было. Я представил цветные корешки «Библиотеки приключений». Они в нашей квартире стояли за стеклом на полке в

моей комнате, напротив кровати. «Остров погибших кораблей», «Копи царя Соломона», «Оце-ола, вождь семиолов», «Всадник без головы» – куда они все подевались? Тихое и таинственное исчезновение вещей. О собственном члене я теперь вспоминал лишь в туалете. Радио у меня давно разбилось. Поэтому новости из внешнего мира, правда, с большим опозданием и отрывочно, доходили до меня только из нужника. Там всегда лежали газеты, некоторые уже заботливо порванные для использования, но попадались и целые. Я искал и прочитывал (часто на самом интересном газета обрывалась) только зарубежные новости. Под ними всегда было два вида подписи: или «соб. кор.» и фамилия, или «ТАСС».

Новости из-за границы всегда полны трагизма и сочувствия к простым рабочим людям, которым дико не повезло родиться в Англии, Испании или, что ещё хуже, в Америке. В Африке было много местных борцов против эксплуататоров и колонизаторов, но им не всегда везло, и они даже попадали в разные тюрьмы. Однако Советский Союз и там не оставлял их своей заботой. Сегодня утром, сидя на горшке, я прочёл, что в Индонезии президент Сукарно отказался от второго завтрака и полдника в пользу крестьян с какого-то острова, на которых напала саранча. Или он решил отдать завтрак и полдник саранче, чтобы она не трогала крестьян. За это его пригласили с визитом в Москву. Такие статьи мне нравились, но эту я всё равно использовал по назначению.

За этими мыслями я незаметно выкурил всё, что у меня было. Чай совсем остыл. Нужно было принимать решение: или снова прилечь на не убранную с утра кровать, или предпринять что-то другое. Я внимательно оглядел комнату, словно ища подсказки. Всё было на своих местах, со вчерашнего и позавчерашнего дня ничего не изменилось. Но вдруг мой глаз зацепил то, мимо чего я проходил каждый день раз сто туда и обратно. Мало того, я ложился спать на расстоянии вытянутой руки от этого забытого богатства. В углу у шкафа стояла батарея разномастных бутылок. Я словно увидел их впервые. Они стали привычной частью моей комнаты, настолько, что я вообще перестал их видеть, как стул, на котором сидишь. Первый ряд бутылок уже выдвинулся вперёд, перед шкафом – это недавние, за ними в тень нестройными рядами уходили до самой стены покрытые пылью ветераны. Это были мои деньги! Теперь нужно их пересчитать и осмотреть горлышко каждой, нет ли сколов. Такие не принимали.

Несомненно, этот день моей жизни был крепко связан с математикой. Я сел на пол и принялся за инвентаризацию. Итак, я имел восемнадцать бутылок из-под портвейна и прочей бормотухи по семнадцать копеек за штуку. Одна была со сколом, я её сразу отставил в сторону. Из-под водки оказалось девять бутылей, все целые, по двенадцать копеек за каждую. Ещё стояло четыре малька в идеальном состоянии, по девять копеек. Кроме того, между стеной и шкафом я обнаружил лежащую, видимо, очень давно, всю в пыли, ещё одну бутылку из-под портвейна «Агдам». Это ещё семнадцать копеек.

Я второй раз за сегодняшний день погрузился в математические расчеты. Промежуточные результаты по разным бутылкам я записывал карандашом прямо на обоях у двери. Потом всё сложил, считая бутылку из-за шкафа, и получил результат. Четыре рубля пятьдесят копеек! Это оказалась впечатляющая цифра. Я её тоже записал на стене и обвёл.

Пункты приёма стеклотары, как они официально назывались, – места почти сакральные. Центры силы, вернее, бессилия. Там за выпитую или найденную в парке бутылку давали небольшую, но твёрдую, единую по всей необъятной стране цену. Пункты были разбросаны по всему городу, располагались обычно в подвалах и почти всегда не работали. Не было более грустного зрелища, чем вид людей, притаившихся, часто издалека, тяжёлые сумки со стеклом и оказавшихся перед объявлением «Тары нет! Закрыто». Тащить обратно тяжело, а оставить просто так – невозможно. Начальники пунктов приёма имели огромную власть над самыми бедными, несчастными, неприкаянными и беззащитными жителями города и почти все были бездушными циничными тварями. Не было в стране ни одного начальника, который мог бы приказать приёмщику посуды! Ни министр, ни генерал КГБ, ни секретарь обкома. В своём

подвале и во всей стране он главнее всех! И они пользовались своей безнаказанностью. В разгар приема они могли вдруг заявить: «Всё! По 0,7, не берем. Тара кончилась...» – и очередь, тихо матерясь, редела. Или просто перед носом захлопнуть окошко, буркнув: «Пересчёт!» или «Перерыв!», и грустная, безропотная, бедно одетая кучка людей продолжала стоять, ждать и надеяться.

Я рисковать не мог. Бутылок было много, деньги на кону стояли немаленькие, я должен действовать наверняка. У нас в квартире был телефон. Он висел на исписанной разными именами и номерами стене в конце коридора, перед поворотом на кухню. Я им почти не пользовался. Мне вообще было противно смотреть на его грязный циферблат и засаленную жирную трубку. Рядом стоял стул с отполированным соседскими задницами сиденьем. Оно тоже было покрыто номерами телефонов и именами. Но я готовил операцию, а связь и коммуникация в современной войне играют важнейшую роль. Я позвонил Грише.

Гриша жил на улице Якубовича, в доме № 24, на первом этаже. А в соседнем доме, номер № 22, был самый большой в районе пункт приёма посуды. Гриша шил папахи из каракуля для знаменитого военного ателье, что располагалось рядом, на бульваре Профсоюзов. Он был инвалид и работал на дому. Но его папахи носил весь генералитет Ленинградского военного округа, и ему ателье поставило в квартиру телефон на случай какой-нибудь особой срочности. Гриша был лучший по генеральским шапкам, но запойный. Он единственный, кто избил костылём начальника приема посуды, когда тот отказался принять у него две бутылки из-под «Жигулей». Он просто взял забракованную бутылку и, ни слова не говоря, засадил ею Лехе Толстому по голове, а затем спустился в подвал и добавил ещё костылём. Это был настоящий подвиг. Но мало того, Гриша заставил обливающегося кровью приёмщика выдать ему за две его бутылки двадцать четыре копейки! И это всё на глазах онемевших алкашей! Вот такому человеку я звонил.

Голос Гриши был трезвый, тихий и серьёзный.

– Ладно, – сказал он, – сейчас мотнусь, посмотрю, – и бросил трубку.

Я мучился от отсутствия курева, но сидел на стуле рядом с телефоном и ждал. Тут я через драный тапок нащупал что-то на полу. Из-под стула выкатилась целая сигарета «Прима». Это был добрый знак. И тут же зазвонил телефон. Гриша!

Он скупо сообщил обстановку. Пункт работает, но тара кончается. Он про меня предупредил. Но действовать надо немедленно. С меня полтинник. И... разъединился. Гриша так долго шил для военных, что и сам приобрёл командный стиль. Грамотно провёл рекогносцировку на местности и доложил. Теперь всё зависело от меня. Я заметался по комнате в поисках авоськи. У меня была большая сумка, в которой я раз в полгода сдавал бельё в прачечную. Но её одной мало. Максимум бутылок двенадцать. В авоську влезало восемь, это для неё предел прочности. По карманам я мог рассовать ещё три-четыре малька, не больше. И тут я вспомнил, что у нас в общей кладовке за кухней висел чей-то рюкзак. Не было в коммунальной квартире преступления ужаснее, чем посягательство на чужое барахло! Но я уже был внутренне готов стать преступником, когда тихо крался по коридору. Господь в этот день на стороне страждущих грешников: в квартире тихо, а рюкзак был на месте.

Когда я спускался по лестнице, меня шатало, и каждая ступенька отзывалась стеклянным звоном. Я шёл, как в тумане, но шёл. На мосту через Мойку я понял, что больше не могу. Пот заливал лицо, но руки были заняты, и при каждом шаге бутылки на спине стучали по позвоночнику. А те, что оттягивали карманы пальто, ударяли по ногам. У ДК работников связи, при переходе улицы Герцена, я подвернул ногу и чудом сохранил равновесие. Это была ровно половина пути. Я задыхался, а руки онемели, но я уже сворачивал на Якубовича. На мое несчастье, её в очередной раз перекопали и превратили в неодолимую полосу препятствий. Работяги мрачно вынимали из глубоких траншей ржавые трубы. В центре города под ногами был не асфальт, а грязная каша из глины, песка и сгнивших обмоток подземного хозяйства...

Силы кончились. Но я прошёл дом номер восемнадцать. Ещё два дома... Выдохнув последний раз, я умер, но дошёл!

Очередь у окошка приема, увидев залитого потом мертвеца с посудой в руках и на спине, невольно расступилась. Или это сработал голос из подвала: «Он занимал! Давай ставь!».

В общем, всё прошло как по маслу. Получив деньги, я не сразу зашёл к Грише, а легкой походкой пересёк бульвар Профсоюзов и в Замятином переулке взял два пива. И только потом, медленно, снова полюбив свой город, направился к Грише.

Гриша

Гриша жил на первом этаже в собственной квартире. Вся она состояла из узкого коридорчика, вытянутой комнаты метров в пятнадцать с одним окном, крохотной темной кухни и вонючего, вечно текущего туалета за фанерной выгородкой. Она напоминала курятник или собачью конуру, но Гриша ею гордился: «Хата отличная, со всеми удобствами». Дверь в квартиру находилась в углу, под пролётом лестницы в тёмном тупике, который знали и использовали многие жители района и просто прохожий люд в момент, когда сильно приспичит. Но так пахло на лестницах по всему городу, это типичный запах нашей жизни, поэтому ничего особенного тут не было.

На двери был звонок, но он не работал, Грише надо было стучать. Я пару раз крепко стукнул кулаком в деревянную, покрашенную коричневой краской дверь. Грубая малярная краска во многих местах вздулась и отвалилась. В этих проплешинах виднелись прежние слои покраски. Много лет назад дверь была буро-зеленой, а потом коричневой, как сейчас, затем серой и снова коричневой. В краске даже остались намертво законсервированные щетинные волоски от малярных кистей-флейцев. Не дверь, а археологическая палитра. Пока я рассматривал следы былой дверной жизни, внутри послышались шаги и стук костыля. Лязгнул замок, и дверь открылась. Из квартиры ударил густой запах горелого дерева и перепрелых окурков. Увидев меня, Гриша, ни слова не говоря, повернулся и заковылял обратно.

Я вошёл, прикрыв за собой входную дверь. Вся квартира была заполнена дымом, как будто горели дрова или начинался пожар. Это значит, Гриша выжигал очередную картину. Когда не было заказов на папахи, он целиком посвящал себя любимому делу. Выжигал он на фанере специальным прибором для «художественного выжигания по дереву», купленным им в Гостином дворе. В его творчестве присутствовало только два постоянных сюжета. Или лучше сказать, что в своём творчестве он обращался только к двум сюжетам. Первый – «Василий Тёркин травит байки своим боевым товарищам». Это бесконечные вариации на картину художника Непринцева «Отдых после боя», репродукция которой, вырванная из «Огонька», висела, прищипленная портновскими иголками к стене. Сложная многофигурная композиция, перенесённая на фанерную крышку от посылочного ящика, выходила у Гриши сборищем каких-то страшных чёрных папуасов и никогда не помещалась целиком. Но как настоящий художник, он заканчивал одну и тут же начинал следующую. Таких страшных выжженных фанерок было уже штук двадцать, и они становились всё более жуткими и загадочными. Но Гриша не останавливался. Только запой мог на время заставить его забыть творчество.

Второй вечный сюжет – лирический. Это голая баба с огромной грудью и слоноподобными бёдрами, которую душила змея. Гриша называл её «Клеопатра». Смелая вещь! Фанерок с этим сюжетом тоже было много. Но они пользовались гораздо бóльшим успехом, чем Василий Тёркин. Их разбирали. Поэтому сейчас на стенке висели всего две оплетённые змеей бабы. Как-то Гриша обмолвился, что «Клеопатру» «штабные» часто берут для своих подруг. Типа, для жён это слишком современно, а для любимых – лучший подарок! Гриша говорил, что Клеопатра была самая главная б... прости Господи на свете и очень любила военных. Не было человека, который ему возразил бы. Художник всегда прав. «Штабными» он называл всех, кто дослужился до папахи. Остальные люди, одетые в форму, – «дармоеды». Других градаций для людей в форме у Гриши не существовало.

Расплачивались с Гришей или бутылкой, или, как он это называл, «разной хренью». Что он имел в виду, не очень понятно, но часто у дома № 24 на улице Якубовича останавливались военные «Узики» и даже «Волги», и сержанты-водители что-то заносили на первый этаж. Вот какова была сила Гришиного искусства! Каждый из нас мог гордиться таким знакомством. И я чувствовал, что сила его творчества и меня делает лучше. Хотя в душе я думал, что он тратит

время на полное говно. Но такой человек, как Гриша, имеет право быть плохим художником, главное не фанерки, а человек.

Ещё была история про Гришину ногу. Вернее, несколько историй. Первая история о том, как он, Гриша, во время войны сбежал из детского дома в Старой Ладого на фронт. Он якобы добрался до тылов Волховского фронта и попросился в разведчики. Его накормили кашей и повели к какому-то командиру. Тот посмотрел на тощего мальчишку в рванье и велел его отправить обратно к чертовой матери. Пока его везли в тыл на полutorке по раздолбанной от снарядов и весенней распутицы дороге вместе с ранеными бойцами, налетели «Юнкерсы» и расстреляли из крупнокалиберных пулемётов всю колонну. Очнулся наш Гриша в уже в госпитале, живой, но без ноги.

Вторая история менее героическая – будто бы Гриша до войны входил в банду знаменитого в Ленинграде карманника Лимона. В начале воровской карьеры он с другими малолетками просто стоял на шухере, но потом Лимон его приблизил к себе и обучил ремеслу. У Гриши была узкая специализация. Он «работал» на транспорте, то есть чистил сумки и карманы в поездах, автобусах и трамваях. И вот однажды в трамвае они с напарниками подрезали пару увесистых лопатников и уже собирались на ближайшей остановке сделать ноги, но трамвай двери не открыл. Оказывается, их давно пасли, и весь трамвай был набит ментами в штатском и добровольцами из комсомольцев-спортсменов. Всех его товарищей повязали с поличным, а он, самый мелкий из всех, сумел проскользнуть между ног в кабину вагоновожатого, разбить стекло кабины и спрыгнуть на улицу. Ну, тут раздались два выстрела. Обе пули попали в ногу. Потом в колонии для малолетних преступников под Вологдой Гриша четыре года осваивал способы драки на костылях и прочие премудрости зоны общего режима.

Была ещё и третья версия, героическая, но полная трагизма. По ней Гриша родился с ногами разной длины, и правая нога росла быстрее левой. Ему из-за этого приходилось хромать. Однажды он влюбился в чудесную девушку, кассиршу в гастрономе. И он ей тоже, кажется, был очень симпатичен. Но Гриша чувствовал, что ей неловко с ним гулять по улицам или пойти в дом культуры на танцы. Пока они сидели на скамейке в саду, ели мороженое и болтали, всё было нормально. Но как только надо было куда-то идти, она делала вид, что не замечает его уродства. Эта деликатность ещё сильнее ранила его влюблённое юношеское сердце. И Гриша решил укоротить ногу сам! Он надумал подложить её под поезд, чуть-чуть, на пару сантиметров. Собрался с духом, выпил для храбрости пару рюмок и поздно вечером недалеко от Комарова пристроил ногу на рельсах в ожидании очередной электрички. Но его, лежащего, обнаружили местные хулиганы. Они напали на Гришу, отобрали у него все деньги, избили и оставили на рельсах. Поэтому первая прошедшая электричка отрезала ему не ту ногу и больше, чем было нужно...

Если честно, для меня эта история звучала не очень убедительно. Во-первых, откуда у Гриши тогда могли быть деньги? И второе, ну какие хулиганы вдруг взялись в Комарове, где все мальчишки и девочки – дети академиков, писателей и артистов? Это же не Колпино или Московская-Товарная. Но личные отношения Гриши с его бывшей ногой в нашем кругу обсуждать было не принято. А сам он вообще на эту тему не говорил.

Гриша доковылял до комнаты, привычно прислонил к стене костыль и оказался сидящим на маленьком продавленном диване.

– Спасибо, Гриша. – Я протянул ему пятьдесят копеек и бутылку «Жигулевского».

Он молча принял и то и другое. Мелочь положил в карман, а пиво горлышком приложил к спинке стула и легко стукнул сверху. Пробка отлетела куда-то в угол. Гриша запрокинул голову и сделал хороший затяжной глоток. Я таким же манером откупорил свою и тоже сделал глоток. Но не такой, как Гриша, экономней. Помолчали. Потом опять каждый отпил из своей бутылки. Гриша чиркнул спичкой и раскурил хабарик, который достал из пепельницы. Опять

помолчали. С Гришей общаться было приятно. Он молчал хорошо. По неписаным правилам хорошего тона я не должен был уходить, пока мы оба не допили каждый свое пиво.

– Ты всё сдал? – неожиданно спросил Гриша.

– Всё! – ответил я.

– А банки из-под майонеза они берут?

– А у меня их и не было, – сказал я.

Гриша был человек неожиданный. Я вообще не помню ни одного алкаша, который бы сдавал банки. Это чисто женская работа, и он это отлично знал. Может, он меня проверял, не измельчал ли я? Опять помолчали. Гриша одним глотком допил пиво и аккуратно засунул бутылку под диван. Я тоже допил свою и поставил её на пол под стул.

– Ну, я пошёл, – сказал я.

– Давай, – ответил Гриша.

Я, стараясь ничего не задеть, по коридору вышел на лестницу и прикрыл дверь от квартиры. Мне понравилось, как мы провели время. Это был неплохой день.

VIII

Африка. 40 км от Триполи. Весна 1942 года

Огромные дальнобойные палубные орудия, доставленные сюда по приказу адмирала Денница, были по самые башни закопаны в песок и грозно смотрели на Восток в сторону Каира. На небольшой взлётной полосе, проложенной среди барханов, стоял самолёт со свастикой на хвосте и буквами «GG» на фюзеляже. Посвящённые знали эту символику личного авиаотряда Германа Геринга. Эти самолёты просто так не летали. Машина стояла в центре пустыни, накрытая жёлтой маскировочной сеткой, в окружении автоматчиков в эсэсовской форме. Несколько офицеров внимательно осматривали корзины, покрытые пестрой местной тканью. Один солдат шёл вдоль корзин и поливал ткань водой из фляги. По знаку офицера два других солдата брались за плетеные ручки и осторожно заносили груз в самолет. Вдруг один из солдат неловко оступился, корзина наклонилась, второй попытался перехватить ручку, но неудачно, корзина сорвалась с трапа, ударилась о бетонную плиту... и на взлётную полосу беспомощно вывалилась огромная улитка. Офицер махнул рукой, автоматчики перевернули затворы и мгновенно окружили место происшествия. Через минуту накрытую брезентом улитку уже унесли, место падения протерли ветошью, и погрузка продолжилась. Верблюд, пасшийся рядом, даже не повернул головы. Солдат, допустивший оплошность, уныло брёл под конвоем в сторону блиндажей.

Генерал-фельдмаршал Эрвин Роммель, принявший на себя командование Африканским экспедиционным корпусом, будучи отличным солдатом, имел ещё одно важное преимущество. Он спокойно переносил жару и никогда не потел, что вызывало искреннюю зависть и восхищение офицеров его штаба. Но уже второй день Эрвину было душно. В ночь с понедельника на вторник специальной почтой ему вручили пакет из Главного штаба сухопутных войск. Пакет доставили способом «Zero», которым могло воспользоваться в чрезвычайных ситуациях только высшее военное командование Рейха, и это обстоятельство лишь подтверждало серьёзность происходящего.

Пакет принес бедуин из специальной сверхсекретной группы аборигенов. Их отобрали инструкторы ещё до войны, вывезли в специальные лагеря, и они прошли все уровни общей и индивидуальной подготовки на секретных базах и полигонах сухопутных войск, где кончалась юрисдикция гестапо. Эти люди свободно говорили на двух-трёх европейских языках, в совершенстве знали местные диалекты, умели оставаться живыми, пролежав пять дней закопанными в песок, могли не пить по три дня, владели всеми видами оружия и нападения, знали древние яды и могли на время превращаться в различных животных, что делало их практически неуязвимыми. Таких бедуинов на всю Африку было 27 человек, и всех их «законсервировали» до момента вторжения на континент. Германская армейская разведка чрезвычайно дорожила этими людьми. И вот один из них, пройдя незамеченным все блок-посты, миновав внутреннее оцепление и личную охрану командующего, как привидение, возник в палатке фельдмаршала с привязанной, по обычаю кочевников, к гениталиям секретной почтой из Берлина. Бедуин спокойно стоял перед самим Роммелем, держа руки за спиной, и не говорил ни слова. Генерал поморщился, протянул руку к набедренной повязке и сорвал пакет.

«Резиденция фельдмаршала Кейтеля. Шарлоттенбург. Берлин». Не было обычных штампов канцелярии шифровального отдела, исходящего номера и фамилии машинистки, даже дата отсутствовала. Роммель понял, что письмо личное и чрезвычайно секретное. Генерал кивком головы хотел удалить курьера, но в палатке он снова был один. Бедуин испарился. «Чертова обезьяна!» – с удовлетворением отметил Роммель и вскрыл конверт.

«Генерал, приветствую Вас! Вчера состоялось совещание у Фюрера. Йодль доложил об оперативной обстановке на Востоке, затем вызвали Гудериана, и он толково изложил проблемы с мобильными частями на Украине. Фюрер был спокоен и задал несколько вопросов. Геринг отдувался за потери люфтваффе над Ламаншем, и всё шло нормально, пока слово не взял Борман. Этот функционер стал упрекать штаб в том, что мы недостаточно наращиваем давление, что баланс сил на Средиземноморье складывается не в нашу пользу, и упомянул Вас, генерал. „Африка должна быть нашей к сентябрю, иначе мы не сможем организовать доставку и использование образцов“. Вернер фон Браун, которого тоже вызвали, заявил, что ему для работы нужно ежемесячно 35–40 крупных „образцов“. Фюрер одобрил это пожелание. Поскольку на Востоке наша разведка ничего не нашла, то вся тяжесть исполнения этого плана ложится на Вас. К сожалению, мы, солдаты, должны собственной кровью платить за безумные идеи партийных бонз. Похоже, что у Вас, дорогой генерал, теперь в руках не только маршалский жезл, но и судьба всей тяжелейшей кампании. Фюрер распорядился немедленно организовать доставку в нужных Брауну количествах этой дряни. Геринг, как всегда, вылез вперёд и вызвался обеспечить операцию личной эскадрилей. Я, в свою очередь, доложил об угрожающей растянутости наших фронтов, о румынской нефти, которой так и нет, об активности британских подлодок в Атлантике, об уязвимости наших плацдармов на Корсике и Сардинии, о заводах, работающих на износ, но Фюрер перебил меня и объявил всем, что ночью у него было видение. Он видел берег моря, по которому шли Нибелунги с серебряными улитками в руках, и золотые брызги вылетали из тёмной воды. А у них на пути стоял носорог, из которого била в землю мощная струя, на спину носорога в это время с небес слетел орёл. Затем Фюрер объяснил нам, что значит это зашифрованное послание. Нибелунги с улитками – это немецкий народ с новым непобедимым оружием в руках, а носорог, выпускающий воду, оказывается, символизирует врагов Рейха, из которых вытекает жизнь. При этом Вермахт-орёл уже глубоко вонзил во врагов когти, что приведёт нас к неминуемой победе. Вот так у нас теперь проходят стратегические обсуждения. Затем Фюрер потребовал доставить „образцы“ в Берлин и закрыл совещание. Уже у машины меня нагнал Геббельс, и сказал мне, что он в сотый раз убедился, что Фюрер – гений, и ждал моей реакции. Очень скользкий человек.

Дорогой генерал! Готовьте отряд для глубокого проникновения внутрь материка, используя все имеющиеся у Вас резервы. Можете и впредь рассчитывать на поддержку Главного штаба. Времени у Вас 14 дней с момента получения письма. Мой приказ о начале операции Вы получите в установленном порядке. Желаю удачи. Да здравствует Германия! Фельдмаршал Кейтель».

Роммель оценил доверительность и важность письма своего прямого командира. Он некоторое время учился и служил с Кейтелем, хотя тот был старше его по возрасту. Кейтель, тогда ещё полковник, неоднократно оказывал Роммелю внимание и поддержку. Потом их военные пути разошлись, но уважение и полное доверие остались. Рассказывать третьим лицам о том, что происходило на совещании у Фюрера, – вообще немислимо! Значит, старик Кейтель пытался его предупредить. Именно для этого он и воспользовался связью «Zego». Но Роммель не знал, что приказ о формировании специальных отрядов на следующий день получат все командующие армиями, начальники штабов и армейских разведок, включая разведку люфтваффе, главное управление военно-морской разведки и подразделения Абвера, развернутые в зонах военных действий и глубоко в тылу противника. Шелленберг лично готовил отправку нескольких отлично подготовленных и экипированных групп для проникновения в районы озёр и лесов, находящихся в тысячах километрах от передовой. Кроме того, по приказу рейхсфюрера СС Гимлера огромная агентурная сеть гестапо в Европе и Латинской Америке переходила на новый режим работы.

«Лис пустыни» Роммель второй раз дочитал письмо и вызвал лучшего знатока Африки в своём штабе, штурмбанфюрера Вейса. Через минуту Альфред Вейс вытянулся перед коман-

дующим. До войны Вейс был путешественником и учёным, так же как и его отец-антрополог. Он был небольшого роста, худой и загорелый. «Да, это не Отто Скорцени», – подумал Роммель и приказал:

– Готовьте отряд вглубь материка. Снимите с нашего северного ангара роту автоматчиков и дозорный взвод со второй батареей. Всем сдать документы и переодеться. Выступать на рассвете в виде торгового каравана, арестованного немцами. На первом этапе двигаться открыто, радиосвязью не пользоваться. Оружие и медикаменты погрузить на верблюдов. Сообщения передавать местным способом с помощью костров и дыма. Проводников из местного населения при выполнении задания уничтожить. Подробную инструкцию получите лично от меня утром. Исполняйте!

Африканский экспедиционный корпус был мобилизованной, хорошо оснащённой и эффективной группой войск, но и он в последнее время испытывал определённые трудности.

До решающей битвы при Ал-Аламейне ещё далеко, но на западе уже урчали моторами американские бронированные чудовища генерала Паттона, а в Аравийской пустыне слишком часто стали появляться британские джипы. Они, как голодные шакалы, кружили вокруг раненого слона. Эти хитрые бестии англичане в Африке чувствовали себя как дома, и Роммель не мог недооценивать Монтгомери.

Карьера фельдмаршала Роммеля была блестящей, но короткой, как и некоторых других высших офицеров Рейха, пришедших не из недр нацистской партии. Трагическая судьба адмирала Канариса тому подтверждение. Но нас интересует другое. Для чего Гитлеру вообще понадобилась такая громоздкая и дорогостоящая операция в Северной Африке? Не надо быть экспертом, чтобы, глядя на карту, понять, что эта страна вообще не должна была представлять интереса для воюющей Германии. Ни в политическом, ни в военном, ни в стратегическом отношении. Испытывая огромные трудности на Востоке, неся колоссальные людские и материальные потери, накануне открытия второго фронта на Западе Гитлер держал на африканском континенте десятки тысяч солдат. Для чего? Мало того, он в течение трёх лет, тяжелейших для военной машины Германии, постоянно наращивал военное присутствие в Африке! Что скрывается за словом «образцы», приказ о доставке которых получают командующие армиями и высшее политическое руководство Рейха?

Теперь, спустя три десятка лет, мы можем ответить на этот вопрос. «Образцы», в которых так был заинтересован Гитлер, – это гигантские улитки. «Оружие возмездия», видимо, не могло без них обойтись. Для продолжения работ над ракетами, которые строил гениальный Вернер фон Браун, были нужны именно улитки. Возможно, что, зная об этом, Сталин распорядился послать кремлевских улиток Курчатову. География и масштаб немецкой операции впечатляет. В период с 1941 по 1945 год в Берлин доставили контейнеры с животными из Аргентины, Чили, Перу, Южной Патагонии, Центральной и Южной Африки, а также большинства европейских государств. Партию «образцов» с невероятными трудностями отправили даже из Восточной Сибири, через Японию и Филиппины! Возможно, что война в Европе и вторжение в Россию – лишь средство к выходу на необъятные таежные леса Сибири и Дальнего Востока, последнего ареала обитания крупных улиток? Также это относится и к африканской кампании, где стратегической целью стало не побережье Средиземного моря, а непроходимая сельва Центральной Африки и Свазиленда. Как писал археолог Шлиман: «Последние документы раскопанных цивилизаций могут дать веские основания для пересмотра причин многих глобальных конфликтов, в том числе и новейших».

IX

Из дневников В.К. Арсеньева (2)

«Дерсу нагнулся, взял пальцами сгусток слизи, растёр на ладони, понюхал... и решительно загородил мне дорогу. За всю долгую историю наших совместных странствий он позволил это себе такое только однажды. Два года назад я ночью вышел из палатки и решил немного пройтись вдоль берега Уссури. Было невероятно тихо, стояла полная луна. Таёжная река, мягко урча, облизывала прибрежные валуны, и мириады мотыльков, отражая крыльшками лунный свет, создавали над водой бледное свечение, похожее на цвет петербургских дворцов в начале белых ночей. Я подумал о своём письменном столе и старом кожаном диване, недопитой бутылке хереса, спрятанной за папкой с гербарием в шкафу, и, отодвинув ветку орешника, встретился глазами с огромным тигром. Жёлтые глаза, не мигая, смотрели прямо на меня, с морды и усов капала вода, уши были прижаты. Нас разделяло несколько метров. Моя смерть была неподвижна и выглядела потрясающе. Когда и каким образом между мной и тигром оказался Дерсу, не понять никогда. Дерсу сделал мягкое движение, и я отлетел назад, упав спиной на траву. В этот момент он запел! Протяжные гортанные звуки заставили тигра поднять уши. Лёжа на земле, я видел, как, не переставая петь, Дерсу Узала почти вплотную приблизился к тигру и начал водить руками, делая замысловатые пассы над его головой. Животное оставалось неподвижным. Вдруг он положил обе руки ему на голову и закрыл тигру глаза! В этот момент он перестал петь и застыл с головой тигра в руках. По огромному телу животного прошла волна, тигр издал глухое урчание и... вытянулся на земле. Дерсу ещё пару раз провёл рукой по спине кошки и начал беззвучно отходить. Тигр, продолжая лежать, принялся вылизывать себе лапы. Приложив палец к губам, мой проводник велел мне быстро убираться. Уже в палатке, придя в себя, потрясённый случившимся, я спросил у него, что он сделал там, на берегу. „Шере чху пышку цай“, – ответил Дерсу, что означает: „Попросил его подождать“ или „Дал отдых его глазам“. Вот и всё! Я вспомнил этот случай, когда мой друг загородил дорогу, запретив мне преследовать улитку. Значит, мне грозила опасность. Как учёный я был возмущён, но как человек, обязанный ему жизнью, я вынужден был уступить. В этих диких краях, в восточных окраинах империи, в непроходимых лесах, на берегах озёр и неисследованных рек, существовали сложные и запутанные, недоступные цивилизованному человеку формы человеческого присутствия со строгими табу, иерархией, системой оповещения и внутренними границами.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.